Достоевский

Фёдор Михайлович

1821 -1881

Классики

за 30 минут

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Серия «Классики за 30 минут» позволит Вам в кратчайшее время ознакомиться с классиками русской литературы и прочитать небольшой отрывок из самого представленного произведения.

В доступной форме авторы пересказали наиболее значимые произведения классических авторов, обозначили сюжетную линию, уделили внимание наиболее важным моментам и показали характеры героев так, что вы сами примите решение о дальнейшем прочтении данных произведений, что сэкономит вам время, либо вы погрузитесь полностью в мир данного автора, открыв для себя новые краски в русской классической литературе.

- Биография Ф. М. Достоевского (1821 – 1881)
- Мальчик у Христа на ёлке
  - История создания
  - Краткий пересказ и анализ произведения
  - Полный текст произведения
- Преступление и наказание
  - «Психологический отчет одного преступления»: история создания и анализ романа «Преступление и наказание»
  - Фрагменты текста романа «Преступление и наказание»
- Бедные люди
  - История создания и анализ произведения «Бедные люди»
  - Критика, современники и автор о романе
  - Краткое содержание произведения
- Бесы
  - История создания и анализ романа «Бесы»
  - Краткое содержание романа
  - Ключевые сцены романа «Бесы»
- Идиот
  - История создания и анализ произведения
  - Характеристика главных героев (цитатный материал)
  - Ключевые сцены романа «Идиот»
- Братья Карамазовы (1878-1879)
  - История создания и анализ романа «Братья Карамазовы»
  - Сокращенный пересказ романа «Братья Карамазовы»

    - Ключевые сцены романа «Братья карамазовы»
- notes
    - 1

Биография Ф. М. Достоевского (1821 – 1881)

Федор Михайлович Достоевский – классик русской литературы XIX века, писатель-романист мирового уровня.

Будущий великий писатель родился в Москве 30 октября (11 ноября) 1821 года. В роду Достоевских были священнослужители: родной дедушка писателя, Андрей Григорьевич Достоевский. Отец, Михаил Андреевич (1789–1839), – медик, служил врачом и в полку, и в госпитале, и в больнице для неимущих. Наградой за долгую отличную службу явилось получение им права на потомственное дворянство в 1827 году. В 1831 году Михаил Андреевич купил село Даровое (в Тульской губернии) и через два года – соседнюю деревню Черемошню. В 1839 году в этой деревне отец умер, в поле, по всей видимости, от апоплексического удара, и был обнаружен спустя два дня. Есть легенда, согласно которой отца Достоевского убили его крепостные крестьяне за жестокое с ними обращение. Однако многие биографы убедительно доказывают, что характер Михаила Андреевича был вовсе не жесток, а слухи эти распущены соседом, имевшим с Достоевскими земельную тяжбу. Сам Федор Михайлович вспоминал о своем детстве только в светлых тонах, говорил о родителях как о людях прогрессивных, любящих друг друга и детей. Именно отец привил ему любовь к литературе, в частности к Шиллеру и Пушкину. Отец научил его читать, познакомил со Священным писанием. Слухи о насильственной смерти отца больно ранили сердце взрослого, но нежно любящего сына. Известно, что известие о смерти отца спровоцировало у Достоевского тяжелый нервный припадок (в будущем у писателя разовьется эпилепсия).

Мать писателя – Мария Федоровна (в девичестве Нечаева; 1800–1837). В семье Достоевских всего было семеро детей. Достоевский впоследствии говорил о своих родителях как о людях прогрессивных. В семье любили читать: интересовались новинками иностранной литературы, русскими авторами. Именно на семейных чтениях впервые познакомился маленький Федор с Карамзиным, Жуковским, Пушкиным. Набожная Мария Федоровна читала с детьми Евангелие, возила на богомолье в Троице-Сергиеву лавру.

После начального домашнего образования Михаил продолжил учиться: в полупансионе Н. И. Драшусова (1833), а с 1834 – в частном пансионе Л. И. Чермака, о котором он сохранил

самые теплые воспоминания. 1837 год принес Достоевский две огромные потери: сначала умирает мать, потом – Пушкин. Значимость для писателя личности Пушкина выходит за пределы литературы, и впоследствии, в знаменитой «Пушкинской речи», он сделал роль Пушкина в российской и мировой культуре очевидной и для остальных. В мае 1837 г. братья Федор и Михаил Достоевские едут в Петербург, а в январе 1838 г. Федор становится учащимся Главного инженерного училища. Упоминания о первых литературных опытах Достоевского относятся именно к этому периоду. В училище молодой автор привлек к себе единомышленников – любителей литературы драматическими произведениями «Мария Стюарт», «Борис Годунов», «Жид Янкель». От этих драм сохранились лишь воспоминания современников, рукописи до нас не дошли.

После смерти отца братья и сестры Достоевские остаются уже круглыми сиротами. Старшие – Федор и Михаил – получают каждый небольшую сумму в наследство, а младшие братья и сестры поступают на попечительство родственников. К концу 1843 года окончено училище; однако не проработав инженером и года, Достоевский подает в отставку, увольняется в чине поручика и отдает себя литературным занятиям.

1840-е годы

✓ Перевод повести «Евгения Гранде» Бальзака (1844);
✓ роман «Бедные люди» (1845);
✓ цикл фельетонов «Петербургская летопись» (1847);
✓ повесть «Белые ночи» (1848);
✓ повесть «Слабое сердце» (1848);
✓ «Неточка Незванова» (1846, неоконч.);
✓ анонимное программное объявление к альманаху «Зубоскал» совместно с Некрасовым и Григоровичем (1845);
✓ публичное чтение (на вечере у Белинского) глав из повести «Двойник» (1846); рассказ «Господин Прохарчин» (1846);
✓ повесть «Хозяйка» (1847).

Роман «Бедные люди», который явился на глаза публике, словно младший литературный брат «Станционного смотрителя» Пушкина и «Шинели» Гоголя, был встречен прекрасно и имел успех. Работая в жанре физиологического очерка, Достоевский показывает подробную анатомию жизни и тех, кто на самом дне, и «высших классов общества». Произведения молодого Достоевского, такие как повести «Слабое сердце», «Белые ночи», цикл социально-психологических фельетонов «Петербургская летопись» и незаконченный роман «Неточка Незванова»,

выделяются из ряда произведений писателей «натуральной школы» присущим Достоевскому психологизмом. Может быть, Достоевского и сделал всемирно знаменитым этот уникальный дар анализировать сложнейшие внутренние движения души, проникать в мысли героев, чувствовать так, как они. Градус восторженных отзывов о произведениях Достоевского со стороны Белинского значительно снизился (если после появления романа «Бедные люди» он провозгласил «появление необыкновенного таланта», то в повестях «Двойник» и «Хозяйка» он отметил уже растянутость повествования), и в конце 1846 г. отношения Достоевского и Белинского разлаживаются. По принципиальным вопросам возникли у него споры и с редакцией «Современника», и кризис в отношениях с недавними друзьями (Некрасовым, Тургеневым). Обостряются проблемы со здоровьем: именно в это время проявляются первые симптомы эпилепсии. Из-за постоянной нехватки средств Федор Михайлович брался за любые заказы. Весной 1847 года Достоевский принимает участие в кружке Петрашевского, участвует в организации тайной типографии для печатания запрещенных листовок. В апреле 1849 г. за участие в этом кружке писателя арестовывают, признают виновным в «умысле на ниспровержение существующих отечественных законов и государственного порядка» и приговаривают к смертной казни.

…22 декабря 1849 года на Семеновском плацу была проведена инсценировка смертной казни: осужденных выстроили будто бы для исполнения приговора, но в последний момент появился всадник, объявивший о милости Николая I – казнь была заменена ему 4-летней каторгой с лишением «всех прав состояния» и последующей сдачей в солдаты. И вот писатель отправляется из Петербурга в Тобольск, там его встречают жены декабристов. Евангелие, подаренное ими, он бережно хранил всю жизнь. Четыре года великий писатель работает в должности чернорабочего в Омске, потом его переводят в рядовые и разрешают вести переписку. Постепенно и с помощью хлопот знакомых писатель был восстановлен в правах: через год произведен в унтер-офицеры, затем в прапорщики; весной 1857 писателю было возвращено потомственное дворянство и право печататься, но под полицейским надзором состоял до 1875 года.

В Омске у Достоевского начался роман с Марией Дмитриевной Исаевой, которая была замужем за учителем гимназии Александром Исаевым, имевшим пристрастие к выпивке. В 1855 г. муж Марии Исаевой скончался после долгой болезни. В 1857 Достоевский женился на овдовевшей Исаевой, которая, по его словам, была «женщина души самой возвышенной

и восторженной… Идеалистка была в полном смысле слова… и чиста, и наивна притом была совсем как ребенок». Однако же брак их не был счастливым.

1850-е годы

✓ «Сибирская» тетрадь, содержащая фольклорные, этнографические и дневниковые записи о каторге, послужила источником для «Записок из Мертвого дома» и других книг Достоевского;

✓ был напечатан рассказ «Маленький герой», написанный Достоевским в Петропавловской крепости (1857);

✓ опубликованы две «провинциальные» комические повести – «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели» (1859).

В марте 1859 г. Достоевский попросился «по болезни» в отставку и получил разрешение жить в Твери. Выйдя в отставку, Достоевский все свои силы вновь посвящает литературе. К концу 1859 года Достоевскому было разрешено уже жить в Петербурге, куда он немедленно переехал и активно занялся литературной деятельностью: редактировал чужие тексты, писал и публиковал свои статьи, художественные произведения.

1860-е годы

✓ Вместе с братом М. М. Достоевским издавал «почвеннические» журналы «Время» (1861–1863) и «Эпоха» (1864–1865);

✓ роман «Униженные и оскорбленные» (1861);

✓ роман «Записки из Мертвого дома» (1862);

✓ роман «Преступление и наказание» (1866);

✓ роман «Идиот» (1868).

Годы, проведенные в Сибири, изменили убеждения Достоевского: он признал народный дух, возвратился к «народному корню». Братья Достоевские выработали идею «почвенничества» – эта модель призвана была примирить славянофилов и западников – народное начало и достижения прогресса. Идея революционного преобразования России была Достоевскому не по душе, он признавал реформы, которые допускают мирное сотрудничество правительства, интеллигенции и народа. Повесть «Записки из подполья» отражает тогдашние взгляды писателя. Достоевский считал, что у России – свой особый путь к «земному раю». Достоевский писал: «Я горжусь, что впервые вывел настоящего человека русского большинства и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону.

Трагизм состоит в сознании уродливости. Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться!». Летом 1862 года Достоевский впервые побывал в Европе: Англии, Германии, Франции, Швейцарии, Италии. Известен факт, что в Баден-Бадене Достоевский проигрывается в рулетку «совершенно дотла». Игромания долгие годы была нездоровой страстью писателя. В 1861 году писатель повстречал другую свою роковую страсть – Апполинарию Суслову. Апполинария была известна своим эксцентрическим поведением, красотой, непомерным эгоизмом и страстью к внешним эффектам. Ее образ – это Полина из романа «Игрок», Настасья Филипповна из романа «Идиот». Отношения писателя с Апполинарией продолжались пять лет.

1864 год принес Достоевскому тяжелые утраты. 15 апреля умерла от чахотки его жена, Мария Дмитриевна. По дошедшим до нас свидетельствам можно предположить, что их брак не был счастливым, однако он вдохновил писателя на создание многих женских образов (в частности, образ Катерины Ивановны – «Преступление и наказание»). 10 июня умер брат, Михаил Достоевский. После смерти брата Достоевский пробовал самостоятельно издавать журнал «Эпоха», но в итоге долгов накопилось еще больше, подписка резко упала, и издание пришлось прекратить. Его долг кредиторам составил 15 тысяч рублей, которые смог выплатить лишь к концу жизни.

В то время Достоевский оказался в безвыходном материальном положении, что отразилось на работе над романом «Преступление и наказание»: глава за главой, свеженаписанные, Достоевский посылает их прямо в журнальный набор «Русского вестника», где они сразу же и печатаются в очередной номер. А с другой стороны над ним нависает угроза потери прав на свои издания на 9 лет в пользу издателя Ф. Т. Стелловского. Чтобы выполнить свои обязательства перед Стелловским, Достоевский должен написать ему роман («Игрок»); таким образом, писателю предстояло вести параллельную работу над двумя романами! Его физических сил на это не хватило, и вот по совету друзей Достоевский нанимает молодую стенографистку Анну Сниткину, которая помогает ему справиться с этой задачей. Анна Сниткина – его будущая жена. закончив роман «Преступление и наказание», писатель уезжает за границу со своей новой женой, Сниткиной. Сниткина взяла на себя обустройство быта, она вела дела писателя. С 1871 года Достоевский навсегда бросил рулетку.

В 1867–1868 гг. Достоевский работал над романом «Идиот».

«Идея романа, – указывал автор, – моя старинная и любимая, но до того трудная, что я долго не смел браться за нее. Главная мысль романа – изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь…»

1870-е годы

✓ «Бесы» (1871–1872);

✓ «Подросток» (1874);

✓ писатель был избран членом-корреспондентом Петербургской АН (1877);

✓ «Братья Карамазовы» (1879–1880);

✓ публицистический «Дневник писателя» (1873–1881).

✓ на Международном литературном конгрессе в Лондоне писатель избран членом почетного комитета международной литературной ассоциации (1879 г.).

В июле 1871 Достоевский с женой и дочерью возвратились в Петербург. Каждое лето, начиная с 1872 года, писатель с семьей проводил в городе Старая Русса, а в 1876 Достоевский приобрел здесь дом. В этом доме написаны романы «Подросток» и «Братья Карамазовы». Интересен опыт Достоевского в создании и ведении «Дневника писателя». Все началось в декабре 1872 года, когда Федор Михайлович соглашается принять на себя временно обязанности редактора «Гражданина». С 1873 г. – уже в должности ответственного редактора начал печатать на страницах журнала «Дневник писателя». Эту идею он вынашивал давно. Весной 1874 г. от редакторства писатель отказывается: подводит здоровье, усиливается эмфизема легких, так что летом 1847 г. он уезжает для лечения в Эмс и повторяет поездки туда в 1875, 1876 и 1879 гг. Пристальное внимание Достоевского к теме «отцы и дети» проявилось в романе «Подросток», опубликованном в «Отечественных записках». Когда в обществе – распад и разложение, когда рушатся устои нравственности, а мир вокруг полон соблазнов, как расти юному существу, какую идею взять за основу? Об этом и размышляет писатель в романе. В кон. 1875 Достоевский вновь возвращается к «Дневнику писателя» (1876 и 1877), имевшему большой успех и позволившему писателю вступить в прямой диалог с читателями-корреспондентами. Автор так говорил о своем детище: «Я не летописец: это, напротив, совершенный дневник в полном смысле слова, то есть отчет о том, что наиболее меня заинтересовало лично». «Дневник» 1876–1877 гг. – сплав публицистических статей, очерков, фельетонов, критики, мемуаров и художественных произведений. В «Дневнике» писатель делится свежими впечатлениями о

культурных явлениях России и Европы, говорит о любых проблемах современности, волнующих его: реформы в России, консерватизм, народничество, социализм. В последние годы жизни Достоевский популярен, знаменит. Он часто выступает, читая отрывки из своего, а также стихи Пушкина. Писатель воочию знакомится с реалиями русской жизни: в 1875 г. он посещает колонии для малолетних преступников, в 1876 г. – Воспитательный дом. В марте 1878 г. Достоевский в зале Петербургского окружного суда наблюдает за процессом Веры Засулич, в феврале 1880 присутствует на казни И. О. Млодецкого, стрелявшего в М. Т. Лорис-Меликова. В «Дневнике писателя», словно в лаборатории, опробовались идеи для последнего романа Достоевского. В конце 1877 г. Достоевский объявил о прекращении «Дневника» в связи с намерением заняться «одной художнической работой, сложившейся… в эти два года издания «Дневника» неприметно и невольно». Речь идет о последнем романе Достоевского – «Братья Карамазовы». 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в 1880 году вся Москва собралась на открытие памятника Пушкину. Речь Достоевского вызвала бурный восторг слушателей, писателя увенчали лавровым венком, который он ночью, вернувшись к памятнику поэта, возложил к ногам Пушкина.

В январе 1881 г. жизнь писателя кипит сильнее обычного: он выступает с речами, возобновляет выпуск «Дневника писателя», готовится к Пушкинскому вечеру 29 января, разучивает роль схимника в «Смерти Иоанна Грозного» А. К. Толстого для домашнего спектакля… Но судьба лучше нас знает, чему суждено случиться. В ночь с 25 на 26 января у Достоевского пошла горлом кровь. Днем 28 января Достоевский попрощался с детьми, и вечером скончался. 31 января 1881 состоялись похороны писателя; почтить память Достоевского пришло огромное количество людей. Он похоронен в Александро-Невской лавре в Петербурге.

Мальчик у Христа на ёлке

История создания

Накануне Рождества 1875 года Федор Михайлович пережил разнообразные впечатления: рождественская елка в Петербургском клубе художников, куда он привел дочь Любу; визит в колонию для малолетних преступников; встреча с «мальчиком с ручкой» на улицах Петербурга в мороз перед Новым годом. Всё это побудило писателя к созданию рождественского рассказа «Мальчик у Христа на ёлке».

Рассказ Достоевского имеет литературные корни: это баллада «Ёлка сироты» (1816 г.) Фридриха Рюккерта – немецкого поэта-романтика; святочные рассказы: «Девочка с серными спичками» Г. Х. Андерсена и «Рождественские рассказы» Ч. Диккенса. По традиции, эти короткие аллегорические рассказы, которые детям читали перед Рождеством, содержали реалистичную историю, при этом весьма поучительную. В данном рассказе показывается, как в тепле и великолепии празднуют Рождество состоятельные семьи, и как с улиц, замерзая в худой одежде, страдая от голода, смотрят на огни в окнах дети бедняков. У них нет праздника в настоящем, у них нет надежды на будущее: став взрослыми, они пополнят ряды пьяниц и воров. Не впервые на страницах произведений Достоевского встречается нам голодный, нищий маленький страдалец: звучит эта тема в произведениях «Бедные люди», «Ёлка и свадьба», «Братья Карамазовы».

Достоевский приступил к рассказу 30 декабря 1875 года, и к концу января «Мальчик у Христа на ёлке» был опубликован наряду с другими материалами о «русских теперешних детях» в январском выпуске «Дневника писателя». В журнале рассказу «Мальчик у Христа на ёлке» предшествовала маленькая главка «Мальчик с ручкой», а первая глава «Дневника писателя» содержала размышления писателя на ту же, «детскую» тему.

Краткий пересказ и анализ произведения

Рассказ состоит из двух глав: «Мальчик с ручкой» и «Мальчик у Христа на елке». Первая – рассуждение о детях, чьей «профессией» с детства становится попрошайничество: гонят пьяницы-родители, выпрошенные деньги пропивают, а не принесешь – бьют. Растущий в холоде, постоянном голоде, в побоях и грязи ребенок вырастает «диким существом», которое не ведает, кто оно, где живет, которое никого не любит и уже ничего не боится.

«Мальчик у Христа на елке» – рассказ, полный щемящей грусти и сострадания к замерзающему ребенку. Маленький (примерно семи лет) мальчонка, проснувшись, находит свою маму, которая почему-то никак не хочет вставать. Она давно уже холодна: видно, умерла во сне, но мальчик не знает, что такое смерть. Не добудившись мамы, он идет в надежде выпросить что-то на пропитание. За окном богатого дома мальчик видит великолепную елку, много света, тепла и игрушек, вкусной еды! Нарядные дети танцуют и веселятся. За другим окном – нарядные барыни раздают всем входящим господам пироги. Мальчик было вошел в дверь – его тут же погнали, барыня дала ему копеечку и сама закрыла за ним дверь. Но в замерзших пальчиках копейка не удержалась, так и укатилась куда-то. Даже в голоде и холоде ребенок остается ребенком: ему радостно смотреть на нарядную девочку, на «живых» куколок. Убежав от ударившего его на улице мальчишки, наш мальчик попадает за поленницу дров. Там он сразу согрелся и заснул. Сначала слух его ласкала песенка мамы, а потом – тихий голос, который позвал его на «Христову ёлку».

Эта елка великолепнее, чем та первая, которую он видел, выйдя на улицу.

– Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! – кричит ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. – Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? – спрашивает он, смеясь и любя их.

– Это «Христова елка», – отвечают они ему. – У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки… – И узнал он, что мальчики эти и девочки все были всё такие же, как он, дети, но одни замёрзли ещё в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонок, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей, во время самарского голода, четвёртые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все

они теперь как ангелы, все у Христа, и Он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей… А матери этих детей всё стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнаёт своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слёзы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо…

Так, грезя и радуясь на «Христовой елке», мальчик замерзает во сне.

Полный текст произведения

I. Мальчик с ручкой

Дети странный народ, они снятся и мерещатся. Перед елкой и в самую елку перед рождеством я все встречал на улице, на известном углу, одного мальчишку, никак не более как лет семи. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана каким-то старьем, – значит его все же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил «с ручкой»; это технический термин, значит – просить милостыню. Термин выдумали сами эти мальчики. Таких, как он, множество, они вертятся на вашей дороге и завывают что-то заученное; но этот не завывал и говорил как-то невинно и непривычно и доверчиво смотрел мне в глаза, – стало быть, лишь начинал профессию. На расспросы мои он сообщил, что у него сестра, сидит без работы, больная; может, и правда, но только я узнал потом, что этих мальчишек тьма-тьмущая: их высылают «с ручкой» хотя бы в самый страшный мороз, и если ничего не наберут, то наверно их ждут побои. Набрав копеек, мальчик возвращается с красными, окоченевшими руками в какой-нибудь подвал, где пьянствует какая-нибудь шайка халатников, из тех самых, которые, «забастовав на фабрике под воскресенье в субботу, возвращаются вновь на работу не ранее как в среду вечером». Там, в подвалах, пьянствуют с ними их голодные и битые жены, тут же пищат голодные грудные их дети. Водка, и грязь, и разврат, а главное, водка. С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабак, и он приносит еще вина. В забаву и ему иногда нальют в рот косушку и хохочут, когда он, с пресекшимся дыханием, упадет чуть не без памяти на пол,

…и в рот мне водку скверную
Безжалостно вливал…

Когда он подрастет, его поскорее сбывают куда-нибудь на фабрику, но все, что он заработает, он опять обязан приносить к халатникам, а те опять пропивают. Но уж и до фабрики эти дети становятся совершенными преступниками. Они бродяжат по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и где можно переночевать незаметно. Один из них ночевал несколько ночей сряду у одного дворника в какой-то

корзине, и тот его так и не замечал. Само собою, становятся воришками. Воровство обращается в страсть даже у восьмилетних детей, иногда даже без всякого сознания о преступности действия. Под конец переносят все – голод, холод, побои, – только за одно, за свободу, и убегают от своих халатников бродяжить уже от себя. Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни где он живет, ни какой он нации, есть ли бог, есть ли государь; даже такие передают об них вещи, что невероятно слышать, и, однакоже, всё факты.

II. МАЛЬЧИК У ХРИСТА НА ЕЛКЕ

Но я романист, и, кажется, одну «историю» сам сочинил. Почему я пишу: «кажется», ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне рождества, в *каком-то* огромном городе и в ужасный мороз.

Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала с своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили еще два дня тому в полицию; жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мертво пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему, наконец, в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. «Очень уж здесь холодно», – подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потом дохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью,

пошел из подвала. Он еще бы и раньше пошел, да все боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.

Господи, какой город! Никогда еще он не видал ничего такого. Там, откудова он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется – никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь – господи, кабы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика.

Вот и опять улица, – ох какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это елка, а на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеется, а у него болят уже пальчики и на ножках, а на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие – миндальные, красные, желтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придет, они тому дают пироги, а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошел. Ух, как на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, господи! Да что ж это

опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платьица и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, – только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, – вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, – и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно».

Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страху и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть: «Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, – подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, – совсем как живые!..» И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. «Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо!»

– Пойдем ко мне на елку, мальчик, – прошептал над ним вдруг тихий голос.

Он подумал было, что это все его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и… и вдруг, – о, какой свет! О, какая елка! Да и не елка это, он и не видал еще таких деревьев! Где это он теперь: все блестит, все сияет и кругом всё куколки, – но нет, это всё мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно.

– Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! – кричит ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. – Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? – спрашивает он, смеясь и любя их.

– Это «Христова елка», – отвечают они ему. – У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки… – И узнал он, что мальчики эти и девочки все были всё такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в

которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонок, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей, во время самарского голода, четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей… А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнает своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо…

А внизу наутро дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму… Та умерла еще прежде его; оба свиделись у господа бога в небе.

И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя? А еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне все кажется и мерещится, что все это могло случиться действительно, – то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об елке у Христа – уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться, или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать.

Преступление и наказание

«Психологический отчет одного преступления»: история создания и анализ романа «Преступление и наказание»

Август 1865 года. Висбаден. Человек, проигравший в рулетку все что имел, вплоть до часов, «в самом тягостном положении» пребывает в отеле, в маленькой комнатке, за долги лишенный питания и даже света в номере. Его сжигает внутренняя лихорадка. Этот человек – русский писатель Федор Михайлович Достоевский. Лишь недавно он продал права на издание полного собрания сочинений в трех томах и обязался написать для своего издателя Стелловского новый роман за три месяца.

Вырученных денег хватило на то, чтобы раздать долги и уехать за границу, но поход в казино стал роковым: все проиграно…

Достоевский начинает роман с описания своей ситуации: за долги бывшего студента Раскольникова перестали кормить на съемной квартире, грозят выгнать с полицией… Мысли его лихорадочно, болезненно возвращаются к одной и той же теории…

Еще отбывая наказание на каторге, Достоевский задумал роман от первого лица, исповедь преступника. Материал для романа дала ему сама жизнь, а именно – опыт каторги, невымышленные истории людей, встреченных там. Из письма брату (октябрь 1859 г.): «В декабре я начну роман… Не помнишь ли, я говорил тебе про одну исповедь-роман, который я хотел писать после всех, говоря, что еще самому надо пережить. На днях я совершенно решил писать его немедля. Все сердце мое с кровью положится в этот роман. Я задумал его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую минуту грусти и саморазложения…» С другой стороны, у романа много литературных предпосылок: «Униженные и оскорбленные», «Записки из Мертвого дома» и «Записки из подполья». Кроме того, материалом для романа послужил неизданный роман «Пьяненькие», который в июне 1865 г. Достоевский предложил А. А. Краевскому для «Отечественных записок». У редакции не было денег, так что роман не взяли. Достоевский находился в трудной ситуации, в нужде. Поэтому ему пришлось в июле 1865 г. заключить договор с издателем Ф. Т. Стелловским, передав ему право на издание полного собрания сочинений в трех томах, да еще и взять на себя обязательство написать большой роман к 1 ноября 1866 года. Тут-

то и произошла финансовая драма, описанная выше. Голодный, мучимый беспокойством, писатель начинает роман (тогда еще повесть), имеющий великую будущность в мировой литературе. В сентябре 1865 г. Достоевский предлагает свою новую повесть в журнал «Русский вестник», сопровождая предложение письмом издателю. Выдержка из письма: «Действие современное, в нынешнем году, молодой человек, исключенный из студентов университета, мещанин по происхождению и живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шаткости в понятиях, поддавшись некоторым странным, «недоконченным» идеям, которые носятся в воздухе, решил разом выйти из скверного своего положения. Он решился убить одну старуху, титулярную советницу, дающую деньги на проценты. Старуха глупа, глуха, больна, жадна, берет жидовские проценты, зла и заедает чужой век, мучая у себя в работницах свою младшую сестру. «Она никуда негодна», «для чего она живет?», «полезна ли она хоть кому-нибудь?» и т. д. – эти вопросы сбивают с толку молодого человека. Он решает убить ее, обобрать, с тем, чтобы сделать счастливою свою мать, живущую в уезде, избавить сестру, живущую в компаньонках у одних помещиков, от сластолюбивых притязаний главы этого помещичьего семейства – притязаний, грозящих ей гибелью, – докончить курс, ехать за границу и потом всю жизнь быть честным, твердым и неуклонным в исполнении «гуманного долга к человечеству» – чем уже, конечно, «загладится преступление», если только можно назвать преступлением этот поступок над старухой глухой, глупой, злой и больной, которая сама не знает, для чего живет на свете, и которая через месяц, может быть, сама собой померла бы…» Достоевский считал, что сюжет подобного романа можно было почерпнуть из любой современной газеты. Роман «Преступление и наказание» начал свою жизнь в литературе как скромная повесть. Уже потом в роман вошла история семьи чиновника Мармеладова. Название сразу же заявляет двучастную структуру романа: в первой части – предпосылки преступления и совершение самого преступления, а во второй – душа преступника, рассматриваемая в мельчайших деталях, подвергаемая подробнейшему анализу; как именно действует на нее совершенное злодеяние. Постепенно повесть превращалась в большой роман. В первой его редакции повествование идет от первого лица, как исповедь. Однако по мере расширения повести и превращения ее в роман создателю стало очевидно, что форму надо брать новую – изложение от имени автора («Рассказ от себя, а не от него. Если же исповедь, то уж слишком до последней крайности, надо все уяснять. Чтобы каждое мгновение рассказа все было ясно…»). Поэтому первый –

полностью готовый! – вариант романа постигла печальная участь – он был сожжен. Работа началась заново…

Весь процесс работы над романом знаком современному читателю (тем, кто интересуется) по дошедшим до нас, изданным трем записным книжкам Достоевского, которые характеризуют три этапа работы автора. Впоследствии все они были опубликованы. В черновиках романа автор то и дело сам задается вопросом: почему Раскольников решился на убийство? У самого Достоевского нет готового ответа, тут важна и работа наших, читательских душ. Идеологически, схематично идея Раскольникова выглядела так: убить одну «вошь» – бесполезное, но богатое существо, чтобы осчастливить на его деньги много хороших, но бедных людей. В процессе работы над романом писатель развивает характер Раскольникова, прививает ему гуманистические идеалы: «Я не такой человек, чтобы дозволить мерзавцу беззащитную слабость. Я вступлюсь. Я хочу вступиться». Но идея убийства из-за любви к другим людям, убийства человека из-за любви к человечеству, постепенно «обрастает» стремлением Раскольникова к власти, но движет им еще не тщеславие. Он стремится получить власть, чтобы полностью посвятить себя служению людям, жаждет использовать власть только для совершения добрых поступков: «Я власть беру, я силу добываю – деньги ли, могущество ль – не для худого. Я счастье несу». Но в ходе работы Достоевский все глубже проникал в душу своего героя, открывая за идеей убийства ради любви к людям, власти ради добрых дел странную и непостижимую «идею Наполеона» – идею власти ради власти, разделяющую человечество на две неравные части: большинство – «тварь дрожащая» и меньшинство – «властелины», призванные управлять меньшинством, стоящие вне закона и имеющие право, подобно Наполеону, во имя нужных целей переступать через закон. В третьей, окончательной, редакции Достоевский выразил «созревшую», законченную «идею Наполеона»: «Можно ли их любить? Можно ли за них страдать? Ненависть к человечеству…» Так, работа над романом приводит самого писателя к пониманию того, что героем движут разнонаправленные сила любви к людям и сила презрения к ним. Сделать Раскольникова праведником или ненавистником? Выбрав лишь в пользу одного, автор нанес бы вред самому роману. И он решает совместить идеи, показав, что в Раскольникове борются два начала либо, как говорит Разумихин о Раскольникове, «два противоположных характера поочередно сменяются». Какой из характеров истинный, ведущий, – решить предстоит читателю. Как и вопрос о финале романа. В одной из черновых тетрадей

есть запись: «*Финал романа. Раскольников застрелиться идет*». Отметим, что если бы героем двигали лишь амбиции Наполеона и он презирал людей как «материал», то застрелиться – был бы выход для него, ибо преступив черту и посмотрев, что за ней – отчаяние, болезнь от совершенного злодеяния, преступник понял, что жить с этим грузом он не может. Но возродиться к жизни возможно, если очиститься через страдание, принять вину, покаяться: «*Видение Христа. Прощения просит у народа*». При этом Достоевский понимал, что суд народный для Раскольникова мало значит, как и игра с Порфирием. Что касается мук совести, то они долгое время, даже на каторге, у Родиона отсутствуют: он так и не может понять бесценность, божественность любой жизни – и той, что он отнял. Однако финал романа намекает на осознание, на возможность рождения новой личности. Лишь суд Сони Мармеладовой Раскольников принимает и ему отдается, ведь Соня воплощает «все страдание человеческое». Вот почему в третьей, окончательной, редакции романа, появилась запись: «Идея романа. I. Православное воззрение, в чем есть православие. *Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием.* Таков закон нашей планеты, но это непосредственное сознание, чувствуемое житейским процессом, – есть такая великая радость, за которую можно заплатить годами страдания. Человек не родится для счастья. Человек заслуживает счастья, и всегда страданием. Тут нет никакой несправедливости, ибо жизненное знание и сознание приобретается опытом «за» и «против», которое нужно перетащить на себе». В черновиках последняя строчка романа звучала так: «Неисповедимы пути, которыми находит бог человека». Но Достоевский завершил роман другими строчками, возможно, испытывая сомнения в окончательном обращении Раскольникова к Богу.

Характеристика персонажей (цитатный материал)

Родион Раскольников

И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился. Он был должен кругом хозяйке и боялся с нею встретиться.

Не то чтоб он был так труслив и забит, совсем даже напротив; но с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию. Он до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, не только встречи с хозяйкой. Он был задавлен

бедностью; но даже стесненное положение перестало в последнее время тяготить его. Насущными делами своими он совсем перестал и не хотел заниматься. Никакой хозяйки, в сущности, он не боялся, что бы та ни замышляла против него. Но останавливаться на лестнице, слушать всякий вздор про всю эту обыденную дребедень, до которой ему нет никакого дела, все эти приставания о платеже, угрозы, жалобы, и при этом самому изворачиваться, извиняться, лгать, – нет уж, лучше проскользнуть как-нибудь кошкой по лестнице и улизнуть, чтобы никто не видал.

…он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен.

Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу.

Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту.

Полтора года я Родиона знаю: угрюм, мрачен, надменен и горд; в последнее время (а может, гораздо прежде) мнителен и ипохондрик. Великодушен и добр. Чувств своих не любит высказывать и скорей жестокость сделает, чем словами выскажет сердце. Иногда, впрочем, вовсе не ипохондрик, а просто холоден и бесчувствен до бесчеловечия, право, точно в нем два противоположные характера поочередно сменяются. Ужасно иногда неразговорчив! Всё ему некогда, всё ему мешают, а сам лежит, ничего не делает. Не насмешлив, и не потому, чтоб остроты не хватало, а точно времени у него на такие пустяки не хватает. Не дослушивает, что говорят. Никогда не интересуется тем, чем все в данную минуту интересуются. Ужасно высоко себя ценит и, кажется, не без некоторого права на то. (*Разумихин*)

Его характеру я никогда не могла довериться, даже когда ему было только пятнадцать лет. Я уверена, что он и теперь вдруг что-нибудь может сделать с собой такое, чего ни один человек никогда и не подумает сделать… (*Пульхерия Александровна*)

Соня

Из толпы, неслышно и робко, протеснилась девушка, и странно было ее внезапное появление в этой комнате, среди нищеты, лохмотьев, смерти и отчаяния. Она была тоже в лохмотьях; наряд ее был грошовый, но разукрашенный по-уличному, под вкус и правила, сложившиеся в своем особом мире, с ярко и позорно выдающеюся целью. Соня остановилась в сенях у самого порога, но не переходила за порог и глядела как потерянная, не сознавая, казалось, ничего, забыв и о своем перекупленном из четвертых рук, шелковом, неприличном здесь, цветном платье с длиннейшим и смешным хвостом, и необъятном кринолине, загородившем всю дверь, и о светлых ботинках, и об омбрельке, ненужной ночью, но которую она взяла с собой, и о смешной соломенной круглой шляпке с ярким огненного цвета пером. Из-под этой надетой мальчишески набекрень шляпки выглядывало худое, бледное и испуганное личико с раскрытым ртом и с неподвижными от ужаса глазами. Соня была малого роста, лет восемнадцати, худенькая, но довольно хорошенькая блондинка, с замечательными голубыми глазами.

«Лизавета! Соня! Бедные, кроткие, с глазами кроткими… Милые!.. Зачем они не плачут? Зачем они не стонут?.. Они всё отдают… глядят кротко и тихо… Соня, Соня! Тихая Соня!..» (*Раскольников*)

Старуха-процентщица

Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом. На ее тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпье, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрепанная и пожелтелая меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела.

Мармеладов

Это был человек лет уже за пятьдесят, среднего роста и плотного сложения, с проседью и с большою лысиной, с отекшим от постоянного пьянства желтым, даже зеленоватым лицом и с припухшими веками, из-за которых сияли крошечные, как щелочки, но одушевленные красноватые глазки. Но что-то было в нем очень странное; во взгляде его светилась как будто даже

восторженность, – пожалуй, был и смысл и ум, – но в то же время мелькало как будто и безумие. Одет он был в старый, совершенно оборванный черный фрак, с осыпавшимися пуговицами. Одна только еще держалась кое-как, и на нее-то он и застегивался, видимо желая не удаляться приличий. Из-под нанкового жилета торчала манишка, вся скомканная, запачканная и залитая. Лицо было выбрито, по-чиновничьи, но давно уже, так что уже густо начала выступать сизая щетина. Да и в ухватках его действительно было что-то солидно-чиновничье.

– Не понимаете вы меня! (…) Да и за что вознаграждать-то? Ведь он сам, пьяный, под лошадей полез! Каких доходов? От него не доходы, а только мука была. Ведь он, пьяница, всё пропивал. Нас обкрадывал да в кабак носил, ихнюю да мою жизнь в кабаке извел! И слава богу, что помирает! Убытку меньше! (*Катерина Ивановна*)

Разумихин

Разумихин имел свойство мигом весь высказываться, в каком бы он ни был настроении, так что все очень скоро узнавали, с кем имеют дело.

– Какой расторопный и… преданный молодой человек! – воскликнула чрезвычайно обрадованная Пульхерия Александровна.

– Кажется, славная личность! – с некоторым жаром ответила Авдотья Романовна, начиная опять ходить взад и вперед по комнате.

Авдотья Романовна

Авдотья Романовна была замечательно хороша собою – высокая, удивительно стройная, сильная, самоуверенная, что высказывалось во всяком жесте ее и что, впрочем, нисколько не отнимало у ее движений мягкости и грациозности. Лицом она была похожа на брата, но ее даже можно было назвать красавицей. Волосы у нее были темно-русые, немного светлей, чем у брата; глаза почти черные, сверкающие, гордые и в то же время иногда, минутами, необыкновенно добрые. Она была бледна, но не болезненно бледна; лицо ее сияло свежестью и здоровьем. Рот у ней был немного мал, нижняя же губка, свежая и

алая, чуть-чуть выдавалась вперед, вместе с подбородком, – единственная неправильность в этом прекрасном лице, но придававшая ему особенную характерность и, между прочим, как будто надменность. Выражение лица ее всегда было более серьезное, чем веселое, вдумчивое; зато как же шла улыбка к этому лицу, как же шел к ней смех, веселый, молодой, беззаветный! Понятно, что горячий, откровенный, простоватый, честный, сильный, как богатырь, и пьяный Разумихин, никогда не видавший ничего подобного, с первого взгляда потерял голову. К тому же случай, как нарочно, в первый раз показал ему Дуню в прекрасный момент любви и радости свидания с братом. Он видел потом, как дрогнула у ней в негодовании нижняя губка в ответ на дерзкие и неблагодарно-жестокие приказания брата, – и не мог устоять.

Лужин

Он уже надворный советник, (…) человек деловой и занятый (…). Человек он благонадежный и обеспеченный, служит в двух местах и уже имеет свой капитал. Правда, ему уже сорок пять лет, но он довольно приятной наружности и еще может нравиться женщинам, да и вообще человек он весьма солидный и приличный, немного только угрюмый и как бы высокомерный. (…) Петр Петрович, по крайней мере по многим признакам, человек весьма почтенный. В первый же свой визит он объявил нам, что он человек положительный, но во многом разделяет, как он сам выразился, «убеждения новейших поколений наших» и враг всех предрассудков. Многое и еще он говорил, потому что несколько как бы тщеславен и очень любит, чтоб его слушали, но ведь это почти не порок. Я, разумеется, мало поняла, но Дуня объяснила мне, что он человек хотя и небольшого образования, но умный и, кажется, добрый. Ты знаешь характер сестры твоей, Родя. Это девушка твердая, благоразумная, терпеливая и великодушная, хотя и с пылким сердцем, что я хорошо в ней изучила. Конечно, ни с ее, ни с его стороны особенной любви тут нет, но Дуня, кроме того что девушка умная, – в то же время и существо благородное, как ангел, и за долг поставит себе составить счастье мужа, который в свою очередь стал бы заботиться о ее счастии, а в последнем мы не имеем, покамест, больших причин сомневаться, хотя и скоренько, признаться, сделалось дело. К тому же он человек очень расчетливый и, конечно, сам увидит, что его собственное супружеское счастье будет тем вернее, чем Дунечка будет за ним счастливее. А что там

какие-нибудь неровности в характере, какие-нибудь старые привычки и даже некоторое несогласие в мыслях (чего и в самых счастливых супружествах обойти нельзя), то на этот счет Дунечка сама мне сказала, что она на себя надеется; что беспокоиться тут нечего и что она многое может перенести, под условием если дальнейшие отношения будут честные и справедливые. Он, например, и мне показался сначала как бы резким; но ведь это может происходить именно оттого, что он прямодушный человек, и непременно так. Например, при втором визите, уже получив согласие, в разговоре он выразился, что уж и прежде, не зная Дуни, положил взять девушку честную, но без приданого, и непременно такую, которая уже испытала бедственное положение; потому, как объяснил он, что муж ничем не должен быть обязан своей жене, а гораздо лучше, если жена считает мужа за своего благодетеля. Прибавлю, что он выразился несколько мягче и ласковее, чем я написала, потому что я забыла настоящее выражение, а помню одну только мысль, и, кроме того, сказал он это отнюдь не преднамеренно, а, очевидно, проговорившись, в пылу разговора, так что даже старался потом поправиться и смягчить; но мне все-таки показалось это немного как бы резко, и я сообщила потом Дуне. Но Дуня даже с досадой отвечала мне, что «слова еще не дело», и это, конечно, справедливо. Пред тем, как решиться, Дунечка не спала всю ночь и, полагая, что я уже сплю, встала с постели и всю ночь ходила взад и вперед по комнате; наконец стала на колени и долго и горячо молилась перед образом, а наутро объявила мне, что она решилась. (*Пульхерия Александровна, мать Раскольникова*)

Это был господин немолодых уже лет, чопорный, осанистый, с осторожною и брюзгливою физиономией, который начал тем, что остановился в дверях, озираясь кругом с обидно-нескрываемым удивлением и как будто спрашивая взглядами: «Куда ж это я попал?» Недоверчиво и даже с аффектацией некоторого испуга, чуть ли даже не оскорбления, озирал он тесную и низкую «морскую каюту» Раскольникова.

Действительно, в общем виде Петра Петровича поражало как бы что-то особенное, а именно, нечто как бы оправдывавшее название «жениха», так бесцеремонно ему сейчас данное. Во-первых, было видно и даже слишком заметно, что Петр Петрович усиленно поспешил воспользоваться несколькими днями в столице, чтоб успеть принарядиться и прикраситься в ожидании невесты, что, впрочем, было весьма невинно и позволительно. Даже собственное, может быть даже слишком самодовольное,

собственное сознание своей приятной перемены к лучшему могло бы быть прощено для такого случая, ибо Петр Петрович состоял на линии жениха. Всё платье его было только что от портного, и всё было хорошо, кроме разве того только, что всё было слишком новое и слишком обличало известную цель. Даже щегольская, новехонькая, круглая шляпа об этой цели свидетельствовала: Петр Петрович как-то уж слишком почтительно с ней обращался и слишком осторожно держал ее в руках. Даже прелестная пара сиреневых, настоящих жувеневских, перчаток свидетельствовала то же самое, хотя бы тем одним, что их не надевали, а только носили в руках для параду. В одежде же Петра Петровича преобладали цвета светлые и юношественные. На нем был хорошенький летний пиджак светло-коричневого оттенка, светлые легкие брюки, таковая же жилетка, только что купленное тонкое белье, батистовый самый легкий галстучек с розовыми полосками, и что всего лучше: всё это было даже к лицу Петру Петровичу. Лицо его, весьма свежее и даже красивое, и без того казалось моложе своих сорока пяти лет. Темные бакенбарды приятно осеняли его с обеих сторон, в виде двух котлет, и весьма красиво сгущались возле светловыбритого блиставшего подбородка. Даже волосы, впрочем чуть-чуть лишь с проседью, расчесанные и завитые у парикмахера, не представляли этим обстоятельством ничего смешного или какого-нибудь глупого вида, что обыкновенно всегда бывает при завитых волосах, ибо придает лицу неизбежное сходство с немцем, идущим под венец. Если же и было что-нибудь в этой довольно красивой и солидной физиономии действительно неприятное и отталкивающее, то происходило уж от других причин.

А мы все давеча поняли, как он вошел, что этот человек не нашего общества. Не потому что он вошел завитой у парикмахера, не потому что он свой ум спешил выставлять, а потому что он соглядатай и спекулянт; потому что он жид и фигляр, и это видно. Вы думаете, он умен? Нет, он дурак, дурак! Ну, пара ли он вам? (*Разумихин*)

Свидригайлов

Это был человек лет пятидесяти, росту повыше среднего, дородный, с широкими и крутыми плечами, что придавало ему несколько сутуловатый вид. Был он щегольски и комфортно одет и смотрел осанистым барином. В руках его была красивая трость, которою он постукивал, с каждым шагом, по тротуару, а руки

были в свежих перчатках. Широкое, скулистое лицо его было довольно приятно, и цвет лица был свежий, не петербургский. Волосы его, очень еще густые, были совсем белокурые и чуть-чуть разве с проседью, а широкая, густая борода, спускавшаяся лопатой, была еще светлее головных волос. Глаза его были голубые и смотрели холодно, пристально и вдумчиво; губы алые. Вообще это был отлично сохранившийся человек и казавшийся гораздо моложе своих лет.

Порфирий Петрович

Это был человек лет тридцати пяти, росту пониже среднего, полный и даже с брюшком, выбритый, без усов и без бакенбард, с плотно выстриженными волосами на большой круглой голове, как-то особенно выпукло закругленной на затылке. Пухлое, круглое и немного курносое лицо его было цвета больного, темно-желтого, но довольно бодрое и даже насмешливое. Оно было бы даже и добродушное, если бы не мешало выражение глаз, с каким-то жидким водянистым блеском, прикрытых почти белыми, моргающими, точно подмигивая кому, ресницами. Взгляд этих глаз как-то странно не гармонировал со всею фигурой, имевшею в себе даже что-то бабье, и придавал ей нечто гораздо более серьезное, чем с первого взгляда можно было от нее ожидать.

Пересказ романа «Преступление и наказание»

Часть первая

С первых строк романа мы встречаемся с Родионом Раскольниковым – молодым человеком, бывшим студентом, ныне задавленным бедностью до такой степени, что за долги его не кормят на квартире обедами, не убирают в комнате, а одежда его грязна и потрепана. Он дошел до предела. Может, потому и родилась в его голове чудовищная идея убить старую процентщицу – «вошь», глупую и зловредную, заедающую чужой век. В полном подчинении у старухи – великовозрастная сестра Елизавета, добрая, но неразумная.

Старуха берет в заклад ценные вещи и дает за них весьма низкую цену, если же должник не смог выкупить вещь – то Алена Ивановна вправе продать её, выручив цену гораздо больше. Раскольников убеждает сам себя, что жизнь такого «вредного» существа мало стоит, и можно позволить себе «кровь по совести»,

чтобы на деньги, взятые у старушки, сделать счастливыми сотни юношей и девушек.

Зайдя в трактир, Раскольников знакомится с чиновником Мармеладовым, таким же «бывшим», как и Родион – бывший студент. Мармеладов на дне: он пьет горькую, дети голодают, жена больна чахоткой, его старшая дочь от первого брака, чтобы спасти семью от голодной смерти, пошла на панель.

Жизнь показывает Раскольникову примеры того, как ради рубля, ради пропитания преступаются абсолютные заповеди («не прелюбодействуй» – у Сони Мармеладовой), как его родные мать с сестрой, не в силах из-за бедности помочь ему – брату и сыну – оплатить учебу готовы пожертвовать Дуней – отдать ее замуж за скупого, расчетливого Лужина, который ищет невесту победнее, чтобы помыкать ею. Кроме того, сестра Дуня становится объектом домогательств помещика Свидригайлова, в доме которого работает.

Письмо от матери Родион читает с лицом, мокрым от слез: может, потому, что судьба его сестры – честной девушки – так близко напоминает судьбу проститутки Сони? Не имея возможности защититься от грубого Свидригайлова, не имея средств к существованию, она вынуждена «продавать» себя скупому Лужину, в котором мало человеческого. Решение окончательно созрело в душе юноши: теперь или никогда!

Случайно (и это выглядит как предопределенность) Родион узнает, в котором часу старуха будет дома одна, без сестры. Приготовления не заняли много времени, он все давно продумал: пришив под мышку пальто петлю для топора, чтобы не был виден, Раскольников направляется к старухе и убивает ее. Ужас от содеянного накрывает его сразу же, и он не может, как запланировал, взять все старухины ценные вещи и деньги – берет лишь часть, и то машинально. Ужас продолжается: домой приходит Лизавета, видит убитую сестру и Раскольникова с окровавленным топором! Тот убивает кроткую и добрую Лизавету…

Родион сразу же чувствует себя преследуемым. К старухе пришли посетители, преступнику с трудом удается ускользнуть из квартиры. Обессиленный, возвращается он домой и впадает в горячку безумия.

Часть вторая

После совершения преступления Раскольников болен, в горячке, в бреду. Его настойчиво мучат мысли, надежно ли

спрятал он улики. По повестке он попадает в контору квартального надзирателя (вопрос о векселе, выданном ранее хозяйке). Там он впервые сталкивается с Никодимом Фомичом. Услышав разговор об убийстве процентщицы и ее сестры, Раскольников падает в обморок, чем, как ему кажется, себя выдает. Придя домой, он берет старухины вещи и кошелек и ищет место, где перепрятать. Чуть было не бросив в реку, он находит место под камнем, в глухом дворе.

После молодой человек попадает к старому знакомому Разумихину. Он и сам не знает, зачем пришел: спрашивает уроки, потом отказывается… Разумихин видит болезненное состояние приятеля и с тех пор начинает принимать в нем участие. Очнувшись через несколько дней, проведенных в горячке и беспамятстве, Раскольников обнаруживает Разумихина, уже вошедшего в доверие к хозяйке и прислуге Настасье. Он преданно ухаживает за больным. Кроме Разумихина, в больном принимают участие доктор Зосимов и письмоводитель Заметов.

От него же, вслушиваясь в разговоры приходящих навещать больного, Раскольников узнает и линию расследования преступления, что так мучит его. Сначала на подозрении были Кох и Пестряков (они первыми нашли тела убитых), потом – маляр, нашедший выпавшие из кармана преступника серьги и понесший их закладывать. Маляр ни в чем не виновен, но из страха, «што засудят», полез в петлю…

Интерес юноши именно к этому преступлению очевиден всем окружающим, подозрения начинают сгущаться над ним.

Является для знакомства жених Авдотьи Романовны, сестры Раскольникова, – Петр Петрович Лужин. Застав Родиона в болезни, окруженным приятелями, Лужин пытается произвести на всех них благоприятное впечатление, но ни речи, ни внешний вид его одобрения у друзей Раскольникова не находят. Под конец встречи Родион грозит спустить Лужина с лестницы, происходит скандал.

Больной Родион, улучив минутку, сбегает из дома, и происходит цепь событий: разговор в трактире с Заметовым, где Раскольников дразнит письмоводителя, то окончательно сбивая его с толку, то, наконец убедив в собственной невиновности; Родион видит бабу-самоубийцу (недавно хотела повеситься – не дали соседи, на глазах Раскольникова бросается в реку – спасают; знающие бабу говорят: мол, допилась до чертиков); посещает место преступления (там красят, меняют обои, Родион осматривает полы и звонит в дверной колокольчик); наконец молодой человек становится свидетелем несчастного случая – под лошадей попал пьяный Мармеладов! Проявив горячее участие в

судьбе умирающего, Раскольников показывает, где живет бывший чиновник, присутствует при последних его минутах, отдает вдове остаток денег, с трудом собранных матерью и сестрой и присланных ему, которые с момента получения, казалось, жгли ему руки: тут досталось и на выпивку девице легкого поведения, кому-то из полицейских успел он «сунуть в руку», когда несли домой Мармеладова, оплатил и доктора.

Вернувшись домой, Раскольников застаёт там мать и сестру: он забыл об их приезде. Те в слезах от известия о болезни их любимого Роди, в тревоге от его исчезновения. Увидев мать с сестрой, Раскольников падает в обморок. Мать и сестра понимают: известия о болезни не преувеличены…

Часть третья

Выясняется, что Родион совершенно не жалеет о выходке с Лужиным, более того – он прямо заявляет сестре, что не желает жертв ради него с ее стороны, требует расторгнуть помолвку: «Или я, или Лужин!». Все больше сближается с Пульхерией Александровной и Дуней Разумихин, влюбившийся в Дуню с первого взгляда.

Болезненное состояние Родиона пугает мать и сестру. Он знакомит их с Соней Мармеладовой: та пришла к Раскольникову, чтобы пригласить его на панихиду и поминки. Восхищение девушки поступком Родиона столь искренне, что мать и сестра сразу же прощают трату 25-ти рублей. Вечером должна состояться встреча дам с Петром Петровичем, женихом. В письме, присланном ранее, он ставит их в известность об оскорблении, нанесенном ему Раскольниковым; его условие – отсутствие Родиона на встрече («Иначе пеняйте на себя»). Дуня, однако, решает их свести, чтобы избежать недомолвок.

Родион, немного оправившись от болезни, начинает вести игру, цель которой – не быть пойманным. Он выстраивает диалоги с матерью, сестрой, Зосимовым, Разумихиным, через Разумихина организует визит к Порфирию – следователю. Этот визит потребовал от Раскольникова напряжения всех его сил, к тому же, Порфирий был готов к встрече. Он втягивает Родиона в разговор, касающийся статьи студента «О преступлении», в котором объясняется точка зрения, позволяющая «кровь по совести» тому, кто принадлежит к избранным. Несомненно, Порфирий подозревает в Раскольникове «идеологического убийцу».

Примечательна встреча Раскольникова после знакомства с

Порфирием – у своего дома он видит странного человека, который спрашивал о нем. В глаза тот называет Раскольникова «Убивец».

Четвертая часть

Состоялось знакомство Раскольникова со Свидригайловым, который пришел к нему в каморку. Рассказав историю своего брака с Марфой Петровной, Свидригайлов предлагает для Авдотьи Романовны десять тысяч рублей в дар, чтобы «облегчить разрыв с господином Лужиным». Раскольников ведет себя вызывающе, посодействовать во встрече с сестрой и передачей денег отказывается. На встрече с Лужиным происходит разрыв: Лужин показывает свое истинное лицо, и Дуня понимает, что не может связать жизнь с этим человеком. Вслед за радостью избавления от Лужина следует испуг: Родион объявляет, что пока не будет ходить к родным, просит забыть его на неопределенный срок. Братом и сыном становится у Раскольниковых преданный и влюбленный Разумихин.

Раскольников идет к Соне, повергает ее в смятение прямыми и жестокими вопросами. Он понимает, что Соня, хоть и блудница, но поневоле, ни одна капля разврата еще не попала к ней в душу. Больше всего на свете она жалеет бедных сирот и Катерину Ивановну, поэтому до сих пор не сошла с ума и не покончила с собой. Ее поддерживает вера в Бога и любовь к ближним. С удивлением слышит Раскольников, что Сонечка с покойной Лизаветой встречались, читали и разговаривали о божественном. Поклонившись Соне и поцеловав ее ногу, Раскольников произносит: «Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился». Молодые люди осознают, что у них возможно некое общее будущее и предназначение, но неясно, в чем оно состоит. Решающего признания Родион еще не сделал.

Весь разговор был подслушан Свидригайловым.

Перед походом на похороны Мармеладова Раскольников приходит к Порфирию. Из намеков следователя Родион понимает, что его подозревают. Измученный словесной игрой, Раскольников доходит почти до припадка. Внезапно врывается красильщик Николай и признается в убийстве, к полной неожиданности присутствующих.

Часть пятая

На поминках по Мармеладову произошел скандал. Болезненная гордость Катерины Ивановны послужила причиной того, что она крайне непочтительно обращалась к квартирной хозяйке, да и ко многим пришедшим («приличные» жильцы, которых ей как раз хотелось видеть, вовсе не пришли). Кроме того Лужин, желая восстановиться в правах жениха, хочет очернить Соню (а вместе с ней и Родиона) в глазах Дуни и ее матери: подкладывает Соне в карман деньги и обвиняет в воровстве. Однако господин Лебезятников случайно видел жест Лужина, и он вывел обманщика на чистую воду. Лужин опозорен: вдобавок Раскольников объясняет присутствующим причины его поступка: унизив в глазах Дуни брата и Соню, он рассчитывал вернуть расположение невесты.

Родион и Соня уходят вместе; у Сони герой признается девушке в совершенном убийстве. Та ужасается, но не осуждает, а жалеет Родиона за нравственные муки, на которые он себя обрёк, и предлагает покаяться, понести заслуженное наказание и тем искупить свою вину. Раскольников же сокрушается только о том, что оказался «тварью дрожащей», с нравственными потребностями вроде совести и любви. «Я еще поборюсь», – не соглашается он с Соней.

В результате ссоры между Катериной Ивановной и квартирной хозяйкой вдову с детьми выставляют за порог. На улице у нее начинается горловое кровотечение, она умирает. Присутствующий при этом Свидригайлов предлагает оплатить похороны и обеспечить детей и Соню.

Часть шестая

У Раскольникова дома поджидает Порфирий, он убеждает юношу явиться с повинной: «теория», отрицающая нравственный – божественный – закон, отрезает преступника от самой жизни и от ее источника – Бога (что безошибочно почувствовал и сам Раскольников сразу же после совершения преступления), и тем самым обрекает своего пленника на смерть. Порфирий не верит в виновность Миколки. Раскольников упорствует: надеется, что все-таки сумеет «переступить» и нравственность.

Трагично оканчивается линия жизни Свидригайлова. Утратив Марфу Петровну, любящее сердце которой неустанно следило за ним и нуждалось в нем, Свидригайлов теряет интерес к жизни. Его «наклонности» не способны наполнить жизнь, духовное начало в нем самом или отсутствует, или очень слабо развито. Он

надеется заполнить любовью к нравственному, чистому существу свою душу. Но личный разговор с Дуней убеждает его, что взаимности нет и быть не может, и через несколько часов он застреливается.

Раскольников неминуемо приближается к признанию, задыхаясь без «воздуха», о котором говорил Порфирий. Он прощается с родными и Соней. Презирая себя за «слабость», он, по настоянию Сони, на глазах народа покаянно целует землю, перед которой «согрешил». В полицейской конторе он узнает о самоубийстве Свидригайлова и наконец делает признание. Четко и ясно он отвечает на все вопросы, показывает место, где спрятано украденное. Ни одного рубля и ни одного предмета из украденного взято не было, так что часть купюр от непогоды подпортились.

Эпилог

Раскольников оказывается в Сибири, на каторге. Мать умерла, Дуня вышла замуж за Разумихина. Соня поселилась возле Раскольникова, ведет переписку с родными и навещает Родиона каждый день. Тот мрачен, безучастен. Не раскаявшись в душе, он по-прежнему отрезан от людей: даже окружающие каторжники – тоже преступники – ненавидят его, считая безбожником. Соню же, напротив, все любят. Попав в тюремный госпиталь, Родион видит сон: таинственные сущности под названием «трихины», вселяясь в людей, порождают в каждом фанатичную убежденность в собственной правоте и нетерпимость к «истинам» других. «Люди убивали друг друга в ‹…› бессмысленной злобе», пока не истребился весь род человеческий, кроме нескольких «чистых и избранных». Так, с помощью аллегории, Раскольников понимает, что гордыня, «умствование» ведут к разрозненности людей, к гибели, а смирение – к счастливому единству, любви. «Бесконечная любовь» сразу же в нем и пробуждается, она обращена к Сонечке. Раскольников берет в руки Евангелие. Он – на пороге «воскресения в новую жизнь». Какою будет эта жизнь, автор ни словом не обмолвился, поскольку повествование о том человеке, каким был Раскольников, закончено.

Фрагменты текста романа «Преступление и наказание»
Часть первая. Знакомство Раскольникова с Мармеладовым в трактире

II

Раскольников не привык к толпе и, как уже сказано, бежал всякого общества, особенно в последнее время. Но теперь его вдруг что-то потянуло к людям. Что-то совершалось в нем как бы новое, и вместе с тем ощутилась какая-то жажда людей. Он так устал от целого месяца этой сосредоточенной тоски своей и мрачного возбуждения, что хотя одну минуту хотелось ему вздохнуть в другом мире, хоть бы в каком бы то ни было, и, несмотря на всю грязь обстановки, он с удовольствием оставался теперь в распивочной.

Хозяин заведения был в другой комнате, но часто входил в главную, спускаясь в нее откуда-то по ступенькам, причем прежде всего выказывались его щегольские смазные сапоги с большими красными отворотами. Он был в поддевке и в страшно засаленном черном атласном жилете, без галстука, а всё лицо его было как будто смазано маслом, точно железный замок. За стойкой находился мальчишка лет четырнадцати, и был другой мальчишка моложе, который подавал, если что спрашивали. Стояли крошеные огурцы, черные сухари и резанная кусочками рыба; всё это очень дурно пахло. Было душно, так что было даже нестерпимо сидеть, и всё до того было пропитано винным запахом, что, кажется, от одного этого воздуха можно было в пять минут сделаться пьяным.

Бывают иные встречи, совершенно даже с незнакомыми нам людьми, которыми мы начинаем интересоваться с первого взгляда, как-то вдруг, внезапно, прежде чем скажем слово. Такое точно впечатление произвел на Раскольникова тот гость, который сидел поодаль и походил на отставного чиновника. Молодой человек несколько раз припоминал потом это первое впечатление и даже приписывал его предчувствию. Он беспрерывно взглядывал на чиновника, конечно, и потому еще, что и сам тот упорно смотрел на него, и видно было, что тому очень хотелось начать разговор. На остальных же, бывших в распивочной, не исключая и хозяина, чиновник смотрел как-то привычно и даже

со скукой, а вместе с тем и с оттенком некоторого высокомерного пренебрежения, как бы на людей низшего положения и развития, с которыми нечего ему говорить. Это был человек лет уже за пятьдесят, среднего роста и плотного сложения, с проседью и с большою лысиной, с отекшим от постоянного пьянства желтым, даже зеленоватым лицом и с припухшими веками, из-за которых сияли крошечные, как щелочки, но одушевленные красноватые глазки. Но что-то было в нем очень странное; во взгляде его светилась как будто даже восторженность, – пожалуй, был и смысл и ум, – но в то же время мелькало как будто и безумие. Одет он был в старый, совершенно оборванный черный фрак, с осыпавшимися пуговицами. Одна только еще держалась кое-как, и на нее-то он и застегивался, видимо желая не удаляться приличий. Из-под нанкового жилета торчала манишка, вся скомканная, запачканная и залитая. Лицо было выбрито, по-чиновничьи, но давно уже, так что уже густо начала выступать сизая щетина. Да и в ухватках его действительно было что-то солидно-чиновничье. Но он был в беспокойстве, ерошил волосы и подпирал иногда, в тоске, обеими руками голову, положа продранные локти на залитый и липкий стол. Наконец он прямо посмотрел на Раскольникова и громко и твердо проговорил:

– А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным? Ибо хотя вы и не в значительном виде, но опытность моя отличает в вас человека образованного и к напитку непривычного. Сам всегда уважал образованность, соединенную с сердечными чувствами, и, кроме того, состою титулярным советником. Мармеладов – такая фамилия; титулярный советник. Осмелюсь узнать, служить изволили?

– Нет, учусь… – отвечал молодой человек, отчасти удивленный и особенным витиеватым тоном речи, и тем, что так прямо, в упор, обратились к нему. Несмотря на недавнее мгновенное желание хотя какого бы ни было сообщества с людьми, он при первом, действительно обращенном к нему слове вдруг ощутил свое обычное неприятное и раздражительное чувство отвращения ко всякому чужому лицу, касавшемуся или хотевшему только прикоснуться к его личности.

– Студент, стало быть, или бывший студент! – вскричал чиновник, – так я и думал! Опыт, милостивый государь, неоднократный опыт! – и в знак похвальбы он приложил палец ко лбу. – Были студентом или происходили ученую часть! А позвольте… – Он привстал, покачнулся, захватил свою посудинку, стаканчик, и подсел к молодому человеку, несколько от него наискось. Он был хмелен, но говорил речисто и бойко, изредка только местами сбиваясь немного и затягивая речь. С какою-то

даже жадностию накинулся он на Раскольникова, точно целый месяц тоже ни с кем не говорил.

– Милостивый государь, – начал он почти с торжественностию, – бедность не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство не добродетель, и это тем паче. Но нищета, милостивый государь, нищета – порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было; и справедливо, ибо в нищете я первый сам готов оскорблять себя. И отсюда питейное! Милостивый государь, месяц назад тому супругу мою избил господин Лебезятников, а супруга моя не то что я! Понимаете-с? Позвольте еще вас спросить, так, хотя бы в виде простого любопытства: изволили вы ночевать на Неве, на сенных барках?

– Нет, не случалось, – отвечал Раскольников. – Это что такое?

– Ну-с, а я оттуда, и уже пятую ночь-с…

Он налил стаканчик, выпил и задумался. Действительно, на его платье и даже в волосах кое-где виднелись прилипшие былинки сена. Очень вероятно было, что он пять дней не раздевался и не умывался. Особенно руки были грязны, жирные, красные, с черными ногтями.

Его разговор, казалось, возбудил общее, хотя и ленивое внимание. Мальчишки за стойкой стали хихикать. Хозяин, кажется, нарочно сошел из верхней комнаты, чтобы послушать «забавника», и сел поодаль, лениво, но важно позевывая. Очевидно, Мармеладов был здесь давно известен. Да и наклонность к витиеватой речи приобрел, вероятно, вследствие привычки к частым кабачным разговорам с различными незнакомцами. Эта привычка обращается у иных пьющих в потребность, и преимущественно у тех из них, с которыми дома обходятся строго и которыми помыкают. Оттого-то в пьющей компании они и стараются всегда как будто выхлопотать себе оправдание, а если можно, то даже и уважение.

– Забавник! – громко проговорил хозяин. – А для ча не работаешь, для ча не служите, коли чиновник?

– Для чего я не служу, милостивый государь, – подхватил Мармеладов, исключительно обращаясь к Раскольникову, как будто это он ему задал вопрос, – для чего не служу? А разве сердце у меня не болит о том, что я пресмыкаюсь втуне? Когда господин Лебезятников, тому месяц назад, супругу мою собственноручно избил, а я лежал пьяненькой, разве я не страдал? Позвольте, молодой человек, случалось вам… гм… ну хоть испрашивать денег взаймы безнадежно?

– Случалось… то есть как безнадежно?

– То есть безнадежно вполне-с, заранее зная, что из сего ничего не выйдет. Вот вы знаете, например, заранее и досконально, что сей человек, сей благонамереннейший и наиполезнейший гражданин, ни за что вам денег не даст, ибо зачем, спрошу я, он даст? Ведь он знает же, что я не отдам. Из сострадания? Но господин Лебезятников, следящий за новыми мыслями, объяснял намедни, что сострадание в наше время даже наукой воспрещено и что так уже делается в Англии, где политическая экономия. Зачем же, спрошу я, он даст? И вот, зная вперед, что не даст, вы все-таки отправляетесь в путь и…

– Для чего же ходить? – прибавил Раскольников.

– А коли не к кому, коли идти больше некуда! Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти! Когда единородная дочь моя в первый раз по желтому билету пошла, и я тоже тогда пошел… (ибо дочь моя по желтому билету живет-с…) – прибавил он в скобках, с некоторым беспокойством смотря на молодого человека. – Ничего, милостивый государь, ничего! – поспешил он тотчас же, и по-видимому спокойно, заявить, когда фыркнули оба мальчишки за стойкой и улыбнулся сам хозяин. – Ничего-с! Сим покиванием глав не смущаюсь, ибо уже всем всё известно и всё тайное становится явным; и не с презрением, а со смирением к сему отношусь. Пусть! пусть! «Се человек!» Позвольте, молодой человек: можете ли вы… Но нет, изъяснить сильнее и изобразительнее: не *можете* ли вы, а *осмелитесь* ли вы, взирая в сей час на меня, сказать утвердительно, что я не свинья?

Молодой человек не отвечал ни слова.

– Ну-с, – продолжал оратор, солидно и даже с усиленным на этот раз достоинством переждав опять последовавшее в комнате хихикание. – Ну-с, я пусть свинья, а она дама! Я звериный образ имею, а Катерина Ивановна, супруга моя, – особа образованная и урожденная штаб-офицерская дочь. Пусть, пусть я подлец, она же и сердца высокого, и чувств, облагороженных воспитанием, исполнена. А между тем… о, если б она пожалела меня! Милостивый государь, милостивый государь, ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели! А Катерина Ивановна дама хотя и великодушная, но несправедливая… И хотя я и сам понимаю, что когда она и вихры мои дерет, то дерет их не иначе как от жалости сердца (ибо, повторяю без смущения, она дерет мне вихры, молодой человек, – подтвердил он с сугубым достоинством, услышав опять хихиканье), но, боже, что если б она хотя один раз… Но нет! нет!

всё сие втуне, и нечего говорить! нечего говорить!.. ибо и не один раз уже бывало желаемое, и не один уже раз жалели меня, но… такова уже черта моя, а я прирожденный скот!

– Еще бы! – заметил, зевая, хозяин.

Мармеладов решительно стукнул кулаком по столу.

– Такова уж черта моя! Знаете ли, знаете ли вы, государь мой, что я даже чулки ее пропил? Не башмаки-с, ибо это хотя сколько-нибудь походило бы на порядок вещей, а чулки, чулки ее пропил-с! Косыночку ее из козьего пуха тоже пропил, дареную, прежнюю, ее собственную, не мою; а живем мы в холодном угле, и она в эту зиму простудилась и кашлять пошла, уже кровью. Детей же маленьких у нас трое, и Катерина Ивановна в работе с утра до ночи, скребет и моет и детей обмывает, ибо к чистоте с измалетства привыкла, а с грудью слабою и к чахотке наклонною, и я это чувствую. Разве я не чувствую? И чем более пью, тем более и чувствую. Для того и пью, что в питии сем сострадания и чувства ищу. Не веселья, а единой скорби ищу… Пью, ибо сугубо страдать хочу! – И он, как бы в отчаянии, склонил на стол голову.

– Молодой человек, – продолжал он, восклоняясь опять, – в лице вашем я читаю как бы некую скорбь. Как вошли, я прочел ее, а потому тотчас же и обратился к вам. Ибо, сообщая вам историю жизни моей, не на позорище себя выставлять хочу перед сими празднолюбцами, которым и без того всё известно, а чувствительного и образованного человека ищу. Знайте же, что супруга моя в благородном губернском дворянском институте воспитывалась и при выпуске с шалью танцевала при губернаторе и при прочих лицах, за что золотую медаль и похвальный лист получила. Медаль… ну медаль-то продали… уж давно… гм… похвальный лист до сих пор у ней в сундуке лежит, и еще недавно его хозяйке показывала. И хотя с хозяйкой у ней наибеспрерывнейшие раздоры, но хоть перед кем-нибудь погордиться захотелось и сообщить о счастливых минувших днях. И я не осуждаю, не осуждаю, ибо сие последнее у ней и осталось в воспоминаниях ее, а прочее всё пошло прахом! Да, да; дама горячая, гордая и непреклонная. Пол сама моет и на черном хлебе сидит, а неуважения к себе не допустит. Оттого и господину Лебезятникову грубость его не захотела спустить, и когда прибил ее за то господин Лебезятников, то не столько от побоев, сколько от чувства в постель слегла. Вдовой уже взял ее, с троими детьми, мал мала меньше. Вышла замуж за первого мужа, за офицера пехотного, по любви, и с ним бежала из дому родительского. Мужа любила чрезмерно, но в картишки пустился, под суд попал, с тем и помер. Бивал он ее под конец; а она хоть и не спускала ему, о чем мне доподлинно и по документам

известно, но до сих пор вспоминает его со слезами и меня им корит, и я рад, я рад, ибо хотя в воображениях своих зрит себя когда-то счастливой… И осталась она после него с тремя малолетними детьми в уезде далеком и зверском, где и я тогда находился, и осталась в такой нищете безнадежной, что я хотя и много видал приключений различных, но даже и описать не в состоянии. Родные же все отказались. Да и горда была, чересчур горда… И тогда-то, милостивый государь, тогда я, тоже вдовец, и от первой жены четырнадцатилетнюю дочь имея, руку свою предложил, ибо не мог смотреть на такое страдание. Можете судить потому, до какой степени ее бедствия доходили, что она, образованная и воспитанная и фамилии известной, за меня согласилась пойти! Но пошла! Плача и рыдая, и руки ломая – пошла! Ибо некуда было идти. Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти? Нет! Этого вы еще не понимаете… И целый год я обязанность свою исполнял благочестиво и свято и не касался сего (он ткнул пальцем на полуштоф), ибо чувство имею. Но и сим не мог угодить; а тут места лишился, и тоже не по вине, а по изменению в штатах, и тогда прикоснулся!.. Полтора года уже будет назад, как очутились мы наконец, после странствий и многочисленных бедствий, в сей великолепной и украшенной многочисленными памятниками столице. И здесь я место достал… Достал и опять потерял. Понимаете-с? Тут уже по собственной вине потерял, ибо черта моя наступила… Проживаем же теперь в угле, у хозяйки Амалии Федоровны Липпевехзель, а чем живем и чем платим, не ведаю. Живут же там многие и кроме нас… Содом-с, безобразнейший… гм… да… А тем временем возросла и дочка моя, от первого брака, и что только вытерпела она, дочка моя, от мачехи своей, возрастая, о том я умалчиваю. Ибо хотя Катерина Ивановна и преисполнена великодушных чувств, но дама горячая и раздраженная, и оборвет… Да-с! Ну да нечего вспоминать о том! Воспитания, как и представить можете, Соня не получила. Пробовал я с ней, года четыре тому, географию и всемирную историю проходить; но как я сам в познании сем был некрепок, да и приличных к тому руководств не имелось, ибо какие имевшиеся книжки… гм!.. ну, их уже теперь и нет, этих книжек, то тем и кончилось всё обучение. На Кире Персидском остановились. Потом, уже достигнув зрелого возраста, прочла она несколько книг содержания романического, да недавно еще, через посредство господина Лебезятникова, одну книжку – «Физиологию» Льюиса, изволите знать-с? – с большим интересом прочла и даже нам отрывочно вслух сообщала: вот и всё ее просвещение. Теперь же обращусь к вам, милостивый государь

мой, сам от себя с вопросом приватным: много ли может, по-вашему, бедная, но честная девица честным трудом заработать?.. Пятнадцать копеек в день, сударь, не заработает, если честна и не имеет особых талантов, да и то рук не покладая работавши! Да и то статский советник Клопшток, Иван Иванович, – изволили слышать? – не только денег за шитье полдюжины голландских рубах до сих пор не отдал, но даже с обидой погнал ее, затопав ногами и обозвав неприлично, под видом будто бы рубашечный ворот сшит не по мерке и косяком. А тут ребятишки голодные… А тут Катерина Ивановна, руки ломая, по комнате ходит, да красные пятна у ней на щеках выступают, – что в болезни этой и всегда бывает: «Живешь, дескать, ты, дармоедка, у нас, ешь и пьешь, и теплом пользуешься», а что тут пьешь и ешь, когда и ребятишки-то по три дня корки не видят! Лежал я тогда… ну, да уж что! лежал пьяненькой-с, и слышу, говорит моя Соня (безответная она, и голосок у ней такой кроткий… белокуренькая, личико всегда бледненькое, худенькое), говорит: «Что ж, Катерина Ивановна, неужели же мне на такое дело пойти?» А уж Дарья Францевна, женщина злонамеренная и полиции многократно известная, раза три через хозяйку наведывалась. «А что ж, – отвечает Катерина Ивановна, в пересмешку, – чего беречь? Эко сокровище!» Но не вините, не вините, милостивый государь, не вините! Не в здравом рассудке сие сказано было, а при взволнованных чувствах, в болезни и при плаче детей не евших, да и сказано более ради оскорбления, чем в точном смысле… Ибо Катерина Ивановна такого уж характера, и как расплачутся дети, хоть бы и с голоду, тотчас же их бить начинает. И вижу я, эдак часу в шестом, Сонечка встала, надела платочек, надела бурнусик и с квартиры отправилась, а в девятом часу и назад обратно пришла. Пришла, и прямо к Катерине Ивановне, и на стол перед ней тридцать целковых молча выложила. Ни словечка при этом не вымолвила, хоть бы взглянула, а взяла только наш большой драдедамовый зеленый платок (общий такой у нас платок есть, драдедамовый), накрыла им совсем голову и лицо и легла на кровать, лицом к стенке, только плечики да тело всё вздрагивают… А я, как и давеча, в том же виде лежал-с… И видел я тогда, молодой человек, видел я, как затем Катерина Ивановна, также ни слова не говоря, подошла к Сонечкиной постельке и весь вечер в ногах у ней на коленках простояла, ноги ей целовала, встать не хотела, а потом так обе и заснули вместе, обнявшись… обе… обе… да-с… а я… лежал пьяненькой-с.

Мармеладов замолчал, как будто голос у него пресекся. Потом вдруг поспешно налил, выпил и крякнул.

– С тех пор, государь мой, – продолжал он после некоторого молчания, – с тех пор, по одному неблагоприятному случаю и по донесению неблагонамеренных лиц, – чему особенно способствовала Дарья Францевна, за то будто бы, что ей в надлежащем почтении манкировали, – с тех пор дочь моя, Софья Семеновна, желтый билет принуждена была получить, и уже вместе с нами по случаю сему не могла оставаться. Ибо и хозяйка, Амалия Федоровна, того допустить не хотела (а сама же прежде Дарье Францевне способствовала), да и господин Лебезятников… гм… Вот за Соню-то и вышла у него эта история с Катериною Ивановной. Сначала сам добивался от Сонечки, а тут и в амбицию вдруг вошли: «Как, дескать, я, такой просвещенный человек, в одной квартире с таковскою буду жить?» А Катерина Ивановна не спустила, вступилась… ну и произошло… И заходит к нам Сонечка теперь более в сумерки, и Катерину Ивановну облегчает, и средства посильные доставляет… Живет же на квартире у портного Капернаумова, квартиру у них снимает, а Капернаумов хром и косноязычен, и всё многочисленнейшее семейство его тоже косноязычное. И жена его тоже косноязычная… В одной комнате помещаются, а Соня свою имеет особую, с перегородкой… Гм, да… Люди беднейшие и косноязычные… да… Только встал я тогда поутру-с, одел лохмотья мои, воздел руки к небу и отправился к его превосходительству Ивану Афанасьевичу. Его превосходительство Ивана Афанасьевича изволите знать?.. Нет? Ну так божия человека не знаете! Это – воск… воск перед лицом господним; яко тает воск!.. Даже прослезились, изволив всё выслушать. «Ну, говорит, Мармеладов, раз уже ты обманул мои ожидания… Беру тебя еще раз на личную свою ответственность, – так и сказали, – помни, дескать, ступай!» Облобызал я прах ног его, мысленно, ибо взаправду не дозволили бы, бывши сановником и человеком новых государственных и образованных мыслей; воротился домой, и как объявил, что на службу опять зачислен и жалование получаю, господи, что тогда было!..

Мармеладов опять остановился в сильном волнении. В это время вошла с улицы целая партия пьяниц, уже и без того пьяных, и раздались у входа звуки нанятой шарманки и детский, надтреснутый семилетний голосок, певший «Хуторок». Стало шумно. Хозяин и прислуга занялись вошедшими. Мармеладов, не обращая внимания на вошедших, стал продолжать рассказ. Он, казалось, уже сильно ослаб, но чем более хмелел, тем становился словоохотнее. Воспоминания о недавнем успехе по службе как бы оживили его и даже отразились на лице его каким-то сиянием. Раскольников слушал внимательно.

– Было же это, государь мой, назад пять недель. Да… Только что узнали они обе, Катерина Ивановна и Сонечка, господи, точно я в царствие божие переселился. Бывало, лежи, как скот, только брань! А ныне: на цыпочках ходят, детей унимают: «Семен Захарыч на службе устал, отдыхает, тш!» Кофеем меня перед службой поят, сливки кипятят! Сливок настоящих доставать начали, слышите! И откуда они сколотились мне на обмундировку приличную, одиннадцать рублей пятьдесят копеек, не понимаю? Сапоги, манишки коленкоровые – великолепнейшие, вицмундир, всё за одиннадцать с полтиной состряпали в превосходнейшем виде-с. Пришел я в первый день поутру со службы, смотрю: Катерина Ивановна два блюда сготовила, суп и солонину под хреном, о чем и понятия до сих пор не имелось. Платьев-то нет у ней никаких… то есть никаких-с, а тут точно в гости собралась, приоделась, и не то чтобы что-нибудь, а так, из ничего всё сделать сумеют: причешутся, воротничок там какой-нибудь чистенький, нарукавнички, ан совсем другая особа выходит, и помолодела, и похорошела. Сонечка, голубка моя, только деньгами способствовала, а самой, говорит, мне теперь, до времени, у вас часто бывать неприлично, так разве, в сумерки, чтобы никто не видал. Слышите, слышите? Пришел я после обеда заснуть, так что ж бы вы думали, ведь не вытерпела Катерина Ивановна: за неделю еще с хозяйкой, с Амалией Федоровной, последним образом перессорились, а тут на чашку кофею позвала. Два часа просидели и всё шептались: «Дескать, как теперь Семен Захарыч на службе и жалование получает, и к его превосходительству сам являлся, и его превосходительство сам вышел, всем ждать велел, а Семена Захарыча мимо всех за руку в кабинет провел». Слышите, слышите? «Я, конечно, говорит, Семен Захарыч, помня ваши заслуги, и хотя вы и придерживались этой легкомысленной слабости, но как уж вы теперь обещаетесь, и что сверх того без вас у нас худо пошло (слышите, слышите!), то и надеюсь, говорит, теперь на ваше благородное слово», то есть всё это, я вам скажу, взяла да и выдумала, и не то чтоб из легкомыслия, для одной похвальбы-с! Нет-с, сама всему верит, собственными воображениями сама себя тешит, ей-богу-с! И я не осуждаю; нет, этого я не осуждаю!.. Когда же, шесть дней назад, я первое жалованье мое – двадцать три рубля сорок копеек – сполна принес, малявочкой меня назвала: «Малявочка, говорит, ты эдакая!» И наедине-с, понимаете ли? Ну уж что, кажется, во мне за краса, и какой я супруг? Нет, ущипнула за щеку: «Малявочка ты эдакая!» – говорит.

Мармеладов остановился, хотел было улыбнуться, но вдруг подбородок его запрыгал. Он, впрочем, удержался. Этот кабак,

развращенный вид, пять ночей на сенных барках и штоф, а вместе с тем эта болезненная любовь к жене и семье сбивали его слушателя с толку. Раскольников слушал напряженно, но с ощущением болезненным. Он досадовал, что зашел сюда.

– Милостивый государь, милостивый государь! – воскликнул Мармеладов, оправившись, – о государь мой, вам, может быть, всё это в смех, как и прочим, и только беспокою я вас глупостию всех этих мизерных подробностей домашней жизни моей, ну а мне не в смех! Ибо я всё это могу чувствовать… И в продолжение всего того райского дня моей жизни и всего того вечера я и сам в мечтаниях летучих препровождал: и то есть как я это всё устрою, и ребятишек одену, и ей спокой дам, и дочь мою единородную от бесчестья в лоно семьи возвращу… И многое, многое… Позволительно, сударь. Ну-с, государь ты мой (Мармеладов вдруг как будто вздрогнул, поднял голову и в упор посмотрел на своего слушателя), ну-с, а на другой же день, после всех сих мечтаний (то есть это будет ровно пять суток назад тому), к вечеру, я хитрым обманом, как тать в нощи, похитил у Катерины Ивановны от сундука ее ключ, вынул что осталось из принесенного жалованья, сколько всего уж не помню, и вот-с, глядите на меня, все! Пятый день из дома, и там меня ищут, и службе конец, и вицмундир в распивочной у Египетского моста лежит, взамен чего и получил сие одеяние… и всему конец!

Мармеладов стукнул себя кулаком по лбу, стиснул зубы, закрыл глаза и крепко оперся локтем на стол. Но через минуту лицо его вдруг изменилось, и с каким-то напускным лукавством и выделанным нахальством взглянул на Раскольникова, засмеялся и проговорил:

– А сегодня у Сони был, на похмелье ходил просить! Хе-хе-хе!

– Неужели дала? – крикнул кто-то со стороны из вошедших, крикнул и захохотал во всю глотку.

– Вот этот самый полуштоф-с на ее деньги и куплен, – произнес Мармеладов, исключительно обращаясь к Раскольникову. – Тридцать копеек вынесла, своими руками, последние, всё что было, сам видел… Ничего не сказала, только молча на меня посмотрела… Так не на земле, а там… о людях тоскуют, плачут, а не укоряют, не укоряют! А это больней-с, больней-с, когда не укоряют!.. Тридцать копеек, да-с. А ведь и ей теперь они нужны, а? Как вы думаете, сударь мой дорогой? Ведь она теперь чистоту наблюдать должна. Денег стоит сия чистота, особая-то, понимаете? Понимаете? Ну, там помадки тоже купить, ведь нельзя же-с; юбки крахмальные, ботиночку эдакую, пофиглярнее, чтобы ножку выставить, когда лужу придется переходить. Понимаете ли, понимаете ли, сударь, что значит сия

чистота? Ну-с, а я вот, кровный-то отец, тридцать-то эти копеек и стащил себе на похмелье! И пью-с! И уж пропил-с!.. Ну, кто же такого, как я, пожалеет? ась? Жаль вам теперь меня, сударь, аль нет? Говорите, сударь, жаль али нет? Хе-хе-хе-хе!

Он хотел было налить, но уже нечего было. Полуштоф был пустой.

– Да чего тебя жалеть-то? – крикнул хозяин, очутившийся опять подле них.

Раздался смех и даже ругательства. Смеялись и ругались слушавшие и неслушавшие, так, глядя только на одну фигуру отставного чиновника.

– Жалеть! зачем меня жалеть! – вдруг возопил Мармеладов, вставая с протянутою вперед рукой, в решительном вдохновении, как будто только и ждал этих слов. – Зачем жалеть, говоришь ты? Да! меня жалеть не за что! Меня распять надо, распять на кресте, а не жалеть! Но распни, судия, распни и, распяв, пожалей его! И тогда я сам к тебе пойду на пропятие, ибо не веселья жажду, а скорби и слез!.. Думаешь ли ты, продавец, что этот полуштоф твой мне в сласть пошел? Скорби, скорби искал я на дне его, скорби и слез, и вкусил, и обрел; а пожалеет нас тот, кто всех пожалел и кто всех и вся понимал, он единый, он и судия. Приидет в тот день и спросит: «А где дщерь, что мачехе злой и чахоточной, что детям чужим и малолетним себя предала? Где дщерь, что отца своего земного, пьяницу непотребного, не ужасаясь зверства его, пожалела?» И скажет: «Прииди! Я уже простил тебя раз… Простил тебя раз… Прощаются же и теперь грехи твои мнози, за то, что возлюбила много…» И простит мою Соню, простит, я уж знаю, что простит… Я это давеча, как у ней был, в моем сердце почувствовал!.. И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смирных… И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: «Выходите, скажет, и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!» И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: «Свиньи вы! образа звериного и печати его; но приидите и вы!» И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: «Господи! почто сих приемлеши?» И скажет: «Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего…» И прострет к нам руце свои, и мы припадем… и заплачем… и всё поймем! Тогда всё поймем!.. и все поймут… и Катерина Ивановна… и она поймет… Господи, да приидет царствие твое!

И он опустился на лавку, истощенный и обессиленный, ни на кого не смотря, как бы забыв окружающее и глубоко задумавшись. Слова его произвели некоторое впечатление; на минуту

воцарилось молчание, но вскоре раздались прежний смех и ругательства:

– Рассудил!

– Заврался!

– Чиновник!

И проч., и проч.

– Пойдемте, сударь, – сказал вдруг Мармеладов, поднимая голову и обращаясь к Раскольникову, – доведите меня… Дом Козеля, на дворе. Пора… к Катерине Ивановне…

Раскольникову давно уже хотелось уйти; помочь же ему он и сам думал. Мармеладов оказался гораздо слабее ногами, чем в речах, и крепко оперся на молодого человека. Идти было шагов двести-триста. Смущение и страх всё более и более овладевали пьяницей по мере приближения к дому.

– Я не Катерины Ивановны теперь боюсь, – бормотал он в волнении, – и не того, что она мне волосы драть начнет. Что волосы!.. вздор волосы! Это я говорю! Оно даже и лучше, коли драть начнет, а я не того боюсь… я… глаз ее боюсь… да… глаз… Красных пятен на щеках тоже боюсь… и еще – ее дыхания боюсь… Видал ты, как в этой болезни дышат… при взволнованных чувствах? Детского плача тоже боюсь… Потому как если Соня не накормила, то… уж не знаю что! не знаю! А побоев не боюсь… Знай, сударь, что мне таковые побои не токмо не в боль, но и в наслаждение бывают… Ибо без сего я и сам не могу обойтись. Оно лучше. Пусть побьет, душу отведет… оно лучше… А вот и дом. Козеля дом. Слесаря, немца, богатого… веди!

Они вошли со двора и прошли в четвертый этаж. Лестница чем дальше, тем становилась темнее. Было уже почти одиннадцать часов, и хотя в эту пору в Петербурге нет настоящей ночи, но на верху лестницы было очень темно.

Маленькая закоптелая дверь в конце лестницы, на самом верху, была отворена. Огарок освещал беднейшую комнату шагов в десять длиной; всю ее было видно из сеней. Всё было разбросано и в беспорядке, в особенности разное детское тряпье. Через задний угол была протянута дырявая простыня. За нею, вероятно, помещалась кровать. В самой же комнате было всего только два стула и клеенчатый очень ободранный диван, перед которым стоял старый кухонный сосновый стол, некрашеный и ничем не покрытый. На краю стола стоял догоравший сальный огарок в железном подсвечнике. Выходило, что Мармеладов помещался в особой комнате, а не в углу, но комната его была проходная. Дверь в дальнейшие помещения или клетки, на которые разбивалась квартира Амалии Липпевехзель, была приотворена. Там было шумно и крикливо. Хохотали. Кажется,

играли в карты и пили чай. Вылетали иногда слова самые нецеремонные.

Раскольников тотчас признал Катерину Ивановну. Это была ужасно похудевшая женщина, тонкая, довольно высокая и стройная, еще с прекрасными темно-русыми волосами и действительно с раскрасневшимися до пятен щеками. Она ходила взад и вперед по своей небольшой комнате, сжав руки на груди, с запекшимися губами и неровно, прерывисто дышала. Глаза ее блестели как в лихорадке, но взгляд был резок и неподвижен, и болезненное впечатление производило это чахоточное и взволнованное лицо, при последнем освещении догоравшего огарка, трепетавшем на лице ее. Раскольникову она показалась лет тридцати, и действительно была не пара Мармеладову… Входящих она не слыхала и не заметила; казалось, она была в каком-то забытьи, не слушала и не видела. В комнате было душно, но окна она не отворила; с лестницы несло вонью, но дверь на лестницу была не затворена; из внутренних помещений, сквозь непритворенную дверь, неслись волны табачного дыма, она кашляла, но дверь не притворяла. Самая маленькая девочка, лет шести, спала на полу, как-то сидя, скорчившись и уткнув голову в диван. Мальчик, годом старше ее, весь дрожал в углу и плакал. Его, вероятно, только что прибили. Старшая девочка, лет девяти, высокенькая и тоненькая как спичка, в одной худенькой и разодранной всюду рубашке и в накинутом на голые плечи ветхом драдедамовом бурнусике, сшитом ей, вероятно, два года назад, потому что он не доходил теперь и до колен, стояла в углу подле маленького брата, обхватив его шею своею длинною, высохшею как спичка рукой. Она, кажется, унимала его, что-то шептала ему, всячески сдерживала, чтоб он как-нибудь опять не захныкал, и в то же время со страхом следила за матерью своими большими-большими темными глазами, которые казались еще больше на ее исхудавшем и испуганном личике. Мармеладов, не входя в комнату, стал в самых дверях на коленки, а Раскольникова протолкнул вперед. Женщина, увидев незнакомого, рассеянно остановилась перед ним, на мгновение очнувшись и как бы соображая: зачем это он вошел? Но, верно, ей тотчас же представилось, что он идет в другие комнаты, так как ихняя была проходная. Сообразив это и не обращая уже более на него внимания, она пошла к сенным дверям, чтобы притворить их, и вдруг вскрикнула, увидев на самом пороге стоящего на коленках мужа.

– А! – закричала она в исступлении, – воротился! Колодник! Изверг!.. А где деньги? Что у тебя в кармане, показывай! И платье не то! где твое платье? где деньги? говори!..

И она бросилась его обыскивать. Мармеладов тотчас же послушно и покорно развел руки в обе стороны, чтобы тем облегчить карманный обыск. Денег не было ни копейки.

– Где же деньги? – кричала она. – О господи, неужели же он всё пропил! Ведь двенадцать целковых в сундуке оставалось!.. – и вдруг, в бешенстве, она схватила его за волосы и потащила в комнату. Мармеладов сам облегчал ее усилия, смиренно ползя за нею на коленках.

– И это мне в наслаждение! И это мне не в боль, а в нас-лаж-дение, ми-ло-сти-вый го-су-дарь, – выкрикивал он, потрясаемый за волосы и даже раз стукнувшись лбом об пол. Спавший на полу ребенок проснулся и заплакал. Мальчик в углу не выдержал, задрожал, закричал и бросился к сестре в страшном испуге, почти в припадке. Старшая девочка дрожала со сна как лист.

– Пропил! всё, всё пропил! – кричала в отчаянии бедная женщина, – и платье не то! Голодные, голодные! (и, ломая руки, она указывала на детей). О, треклятая жизнь! А вам, вам не стыдно, – вдруг набросилась она на Раскольникова, – из кабака! Ты с ним пил? Ты тоже с ним пил! Вон!

Молодой человек поспешил уйти, не говоря ни слова. К тому же внутренняя дверь отворилась настежь, и из нее выглянуло несколько любопытных. Протягивались наглые смеющиеся головы с папиросками и трубками, в ермолках. Виднелись фигуры в халатах и совершенно нараспашку, в летних до неприличия костюмах, иные с картами в руках. Особенно потешно смеялись они, когда Мармеладов, таскаемый за волосы, кричал, что это ему в наслаждение. Стали даже входить в комнату; послышался, наконец, зловещий визг: это продиралась вперед сама Амалия Липпевехзель, чтобы произвести распорядок по-свойски и в сотый раз испугать бедную женщину ругательским приказанием завтра же очистить квартиру. Уходя, Раскольников успел просунуть руку в карман, загреб сколько пришлось медных денег, доставшихся ему с разменянного в распивочной рубля, и неприметно положил на окошко. Потом уже на лестнице он одумался и хотел было воротиться.

«Ну что это за вздор такой я сделал, – подумал он, – тут у них Соня есть, а мне самому надо». Но рассудив, что взять назад уже невозможно и что все-таки он и без того бы не взял, он махнул рукой и пошел на свою квартиру. «Соне помадки ведь тоже нужно, – продолжал он, шагая по улице, и язвительно усмехнулся, – денег стоит сия чистота… Гм! А ведь Сонечка-то, пожалуй, сегодня и сама обанкрутится, потому тот же риск, охота по красному зверю… золотопромышленность… вот они все, стало быть, и на бобах завтра без моих-то денег… Ай да Соня! Какой

колодезь, однако ж, сумели выкопать! и пользуются! Вот ведь пользуются же! И привыкли. Поплакали, и привыкли. Ко всему-то подлец-человек привыкает!»

Он задумался.

– Ну а коли я соврал, – воскликнул он вдруг невольно, – коли действительно не *подлец* человек, весь вообще, весь род то есть человеческий, то значит, что остальное всё – предрассудки, одни только страхи напущенные, и нет никаких преград, и так тому и следует быть!..

Часть вторая. Раскольников дразнит Заметова (разговор в трактире)

Он вышел в другую улицу: «Ба! «Хрустальный дворец»! Давеча Разумихин говорил про «Хрустальный дворец». Только, чего бишь я хотел-то? Да, прочесть!.. Зосимов говорил, что в газетах читал…»

– Газеты есть? – спросил он, входя в весьма просторное и даже опрятное трактирное заведение о нескольких комнатах, впрочем довольно пустых. Два-три посетителя пили чай, да в одной дальней комнате сидела группа, человека в четыре, и пили шампанское. Раскольникову показалось, что между ними Заметов. Впрочем, издали нельзя было хорошо рассмотреть.

«А пусть!» – подумал он.

– Водки прикажете-с? – спросил половой.

– Чаю подай. Да принеси ты мне газет, старых, этак дней за пять сряду, а я тебе на водку дам.

– Слушаю-с. Вот сегодняшние-с. И водки прикажете-с?

Старые газеты и чай явились. Раскольников уселся и стал отыскивать: «Излер – Излер – Ацтеки – Ацтеки – Излер – Бартола – Массимо – Ацтеки – Излер… фу, черт! А, вот отметки: провалилась с лестницы – мещанин сгорел с вина – пожар на Песках – пожар на Петербургской – еще пожар на Петербургской – еще пожар на Петербургской – Излер – Излер – Излер – Излер – Массимо… А, вот…»

Он отыскал наконец то, чего добивался, и стал читать; строки прыгали в его глазах, он, однако ж, дочел всё «известие» и жадно принялся отыскивать в следующих нумерах позднейшие прибавления. Руки его дрожали, перебирая листы, от судорожного нетерпения. Вдруг кто-то сел подле него, за его столом. Он заглянул – Заметов, тот же самый Заметов и в том же виде, с перстнями, с цепочками, с пробором в черных вьющихся и напомаженных волосах, в щегольском жилете и в несколько потертом сюртуке и несвежем белье. Он был весел, по крайней мере очень весело и добродушно улыбался. Смуглое лицо его

немного разгорелось от выпитого шампанского.

– Как! Вы здесь? – начал он с недоумением и таким тоном, как бы век был знаком, – а мне вчера еще говорил Разумихин, что вы всё не в памяти. Вот странно! А ведь я был у вас…

Раскольников знал, что он подойдет. Он отложил газеты и поворотился к Заметову. На его губах была усмешка, и какое-то новое раздражительное нетерпение проглядывало в этой усмешке.

– Это я знаю, что вы были, – отвечал он, – слышал-с. Носок отыскивали… А знаете, Разумихин от вас без ума, говорит, что вы с ним к Лавизе Ивановне ходили, вот про которую вы старались тогда, поручику-то Пороху мигали, а он всё не понимал, помните? Уж как бы, кажется, не понять – дело ясное… а?

– А уж какой он буян!

– Порох-то?

– Нет, приятель ваш, Разумихин…

– А хорошо вам жить, господин Заметов; в приятнейшие места вход беспошлинный! Кто это вас сейчас шампанским-то наливал?

– А это мы… выпили… Уж и наливал?!

– Гонорарий! Всем пользуетесь! – Раскольников засмеялся. – Ничего, добреющий мальчик, ничего! – прибавил он, стукнув Заметова по плечу, – я ведь не назло, «а по всей то есь любови, играючи» говорю, вот как работник-то ваш говорил, когда он Митьку тузил, вот, по старухиному-то делу.

– А вы почем знаете?

– Да я, может, больше вашего знаю.

– Чтой-то какой вы странный… Верно, еще очень больны. Напрасно вышли…

– А я вам странным кажусь?

– Да. Что это вы газеты читаете?

– Газеты.

– Много про пожары пишут… – Нет, я не про пожары. – Тут он загадочно посмотрел на Заметова; насмешливая улыбка опять искривила его губы. – Нет, я не про пожары, – продолжал он, подмигивая Заметову. – А сознайтесь, милый юноша, что вам ужасно хочется знать, про что я читал?

– Вовсе не хочется; я так спросил. Разве нельзя спросить? Что вы всё…

– Послушайте, вы человек образованный, литературный, а?

– Я из шестого класса гимназии, – отвечал Заметов с некоторым достоинством.

– Из шестого! Ах ты мой воробушек! С пробором, в перстнях – богатый человек! Фу, какой миленький мальчик! – Тут

Раскольников залился нервным смехом, прямо в лицо Заметову. Тот отшатнулся, и не то чтоб обиделся, а уж очень удивился.

– Фу, какой странный! – повторил Заметов очень серьезно. – Мне сдается, что вы всё еще бредите.

– Брежу? Врешь, воробушек!.. Так я странен? Ну, а любопытен я вам, а? Любопытен?

– Любопытен.

– Так сказать, про что я читал, что разыскивал? Ишь ведь сколько нумеров велел натащить! Подозрительно, а?

– Ну, скажите.

– Ушки на макушке?

– Какая еще там макушка?

– После скажу, какая макушка, а теперь, мой милейший, объявляю вам… нет, лучше: «сознаюсь»… Нет, и это не то: «показание даю, а вы снимаете» – вот как! Так даю показание, что читал, интересовался… отыскивал… разыскивал… – Раскольников прищурил глаза и выждал, – разыскивал – и для того и зашел сюда – об убийстве старухи чиновницы, – произнес он наконец, почти шепотом, чрезвычайно приблизив свое лицо к лицу Заметова. Заметов смотрел на него прямо в упор, не шевелясь и не отодвигая своего лица от его лица. Страннее всего показалось потом Заметову, что ровно целую минуту длилось у них молчание и ровно целую минуту они так друг на друга глядели.

– Ну что ж, что читали? – вскричал он вдруг в недоумении и в нетерпении. – Мне-то какое дело! Что ж в том?

– Это вот та самая старуха, – продолжал Раскольников, тем же шепотом и не шевельнувшись от восклицания Заметова, – та самая, про которую, помните, когда стали в конторе рассказывать, а я в обморок-то упал. Что, теперь понимаете?

– Да что такое? Что… «понимаете»? – произнес Заметов почти в тревоге.

Неподвижное и серьезное лицо Раскольникова преобразилось в одно мгновение, и вдруг он залился опять тем же нервным хохотом, как давеча, как будто сам совершенно не в силах был сдержать себя. И в один миг припомнилось ему до чрезвычайной ясности ощущения одно недавнее мгновение, когда он стоял за дверью, с топором, запор прыгал, они за дверью ругались и ломились, а ему вдруг захотелось закричать им, ругаться с ними, высунуть им язык, дразнить их, смеяться, хохотать, хохотать, хохотать!

– Вы или сумасшедший, или… – проговорил Заметов – и остановился, как будто вдруг пораженный мыслью, внезапно промелькнувшею в уме его.

– Или? Что «или»? Ну, что? Ну, скажите-ка!

– Ничего! – в сердцах отвечал Заметов, – всё вздор!

Оба замолчали. После внезапного, припадочного взрыва смеха Раскольников стал вдруг задумчив и грустен. Он облокотился на стол и подпер рукой голову. Казалось, он совершенно забыл про Заметова. Молчание длилось довольно долго.

– Что вы чай-то не пьете? Остынет, – сказал Заметов.

– А? Что? Чай?.. Пожалуй… – Раскольников глотнул из стакана, положил в рот кусочек хлеба и вдруг, посмотрев на Заметова, казалось, всё припомнил и как будто встряхнулся: лицо его приняло в ту же минуту первоначальное насмешливое выражение. Он продолжал пить чай.

– Нынче много этих мошенничеств развелось, – сказал Заметов. – Вот недавно еще я читал в «Московских ведомостях», что в Москве целую шайку фальшивых Монетчиков изловили. Целое общество было. Подделывали билеты.

– О, это уже давно! Я еще месяц назад читал, – отвечал спокойно Раскольников. – Так это-то, по-вашему, мошенники? – прибавил он, усмехаясь.

– Как же не мошенники?

– Это? Это дети, бланбеки, а не мошенники! Целая полсотня людей для этакой цели собирается! Разве это возможно? Тут и трех много будет, да и то чтобы друг в друге каждый пуще себя самого был уверен! А то стоит одному спьяну проболтаться, и всё прахом пошло! Бланбеки! Нанимают ненадежных людей разменивать билеты в конторах: этакое-то дело да поверить первому встречному? Ну, положим, удалось и с бланбеками, положим, каждый себе по миллиону наменял, ну, а потом? Всю-то жизнь? Каждый один от другого зависит на всю свою жизнь! Да лучше удавиться! А они и разменять-то не умели: стал в конторе менять, получил пять тысяч, и руки дрогнули. Четыре пересчитал, а пятую принял не считая, на веру, чтобы только в карман да убежать поскорее. Ну, и возбудил подозрение. И лопнуло всё из-за одного дурака! Да разве этак возможно? – Что руки-то дрогнули? – подхватил Заметов, – нет, это возможно-с. Нет, это я совершенно уверен, что это возможно. Иной раз не выдержишь.

– Этого-то?

– А вы, небось, выдержите? Нет, я бы не выдержал! За сто рублей награждения идти на этакий ужас! Идти с фальшивым билетом – куда же? – в банкирскую контору, где на этом собаку съели, – нет, я бы сконфузился. А вы не сконфузитесь?

Раскольникову ужасно вдруг захотелось опять «язык высунуть». Озноб, минутами, проходил по спине его.

– Я бы не так сделал, – начал он издалека. – Я бы вот как стал менять: пересчитал бы первую тысячу, этак раза четыре со всех концов, в каждую бумажку всматриваясь, и принялся бы за другую тысячу; начал бы ее считать, досчитал бы до средины, да и вынул бы какую-нибудь пятидесятирублевую, да на свет, да переворотил бы ее и опять на свет – не фальшивая ли? «Я, дескать, боюсь: у меня родственница одна двадцать пять рублей таким образом намедни потеряла»; и историю бы тут рассказал. А как стал бы третью тысячу считать – нет, позвольте: я, кажется, там, во второй тысяче, седьмую сотню неверно сосчитал, сомнение берет, да бросил бы третью, да опять за вторую, – да этак бы все-то пять. А как кончил бы, из пятой да из второй вынул бы по кредитке, да опять на свет, да опять сомнительно, «перемените, пожалуйста», – да до седьмого поту конторщика бы довел, так что он меня как и с рук-то сбыть уж не знал бы! Кончил бы всё наконец, пошел, двери бы отворил – да нет, извините, опять воротился, спросить о чем-нибудь, объяснение какое-нибудь получить, – вот я бы как сделал!

– Фу, какие вы страшные вещи говорите! – сказал, смеясь, Заметов. – Только всё это один разговор, а на деле, наверно, споткнулись бы. Тут, я вам скажу, по-моему, не только нам с вами, даже натертому, отчаянному человеку за себя поручиться нельзя. Да чего ходить – вот пример: в нашей-то части, старуху-то убили. Ведь уж, кажется, отчаянная башка, среди бела дня на все риски рискнул, одним чудом спасся, – а руки-то все-таки дрогнули: обокрасть не сумел, не выдержал; по делу видно…

Раскольников как будто обиделся.

– Видно! А вот поймайте-ка его, подите, теперь! – вскрикнул он, злорадно подзадоривая Заметова.

– Что ж, и поймают.

– Кто? Вы? Вам поймать? Упрыгаетесь! Вот ведь что у вас главное: тратит ли человек деньги или нет? То денег не было, а тут вдруг тратить начнет, – ну как же не он? Так вас вот этакий ребенок надует на этом, коли захочет!

– То-то и есть что они все так делают, – отвечал Заметов, – убьет-то хитро, жизнь отваживает, а потом тотчас в кабаке и попался. На трате-то их и ловят. Не всё же такие, как вы, хитрецы. Вы бы в кабак не пошли, разумеется?

Раскольников нахмурил брови и пристально посмотрел на Заметова.

– Вы, кажется, разлакомились и хотите узнать, как бы я и тут поступил? – спросил он с неудовольствием.

– Хотелось бы, – твердо и серьезно ответил тот. Слишком что-то серьезно стал он говорить и смотреть.

– Очень?

– Очень.

– Хорошо. Я вот бы как поступил, – начал Раскольников, опять вдруг приближая свое лицо к лицу Заметова, опять в упор смотря на него и говоря опять шепотом, так что тот даже вздрогнул на этот раз. – Я бы вот как сделал: я бы взял деньги и вещи и, как ушел бы оттуда, тотчас, не заходя никуда, пошел бы куда-нибудь, где место глухое и только заборы одни, и почти нет никого, – огород какой-нибудь или в этом роде. Наглядел бы я там еще прежде, на этом дворе, какой-нибудь такой камень, этак в пуд или полтора весу, где-нибудь в углу, у забора, что с построения дома, может, лежит; приподнял бы этот камень – под ним ямка должна быть, – да в ямку-то эту все бы вещи и деньги и сложил. Сложил бы да и навалил бы камнем, в том виде как он прежде лежал, придавил бы ногой, да и пошел бы прочь. Да год бы, два бы не брал, три бы не брал, – ну, и ищите! Был, да весь вышел!

– Вы сумасшедший, – выговорил почему-то Заметов тоже чуть не шепотом и почему-то отодвинулся вдруг от Раскольникова. У того засверкали глаза; он ужасно побледнел; верхняя губа его дрогнула и запрыгала. Он склонился к Заметову как можно ближе и стал шевелить губами, ничего не произнося; так длилось с полминуты; он знал, что делал, но не мог сдержать себя. Страшное слово, как тогдашний запор в дверях, так и прыгало на его губах: вот-вот сорвется; вот-вот только спустить его, вот-вот только выговорить!

– А что, если это я старуху и Лизавету убил? – проговорил он вдруг и – опомнился.

Заметов дико поглядел на него и побледнел как скатерть. Лицо его искривилось улыбкой.

– Да разве это возможно? – проговорил он едва слышно.

Раскольников злобно взглянул на него.

– Признайтесь, что вы поверили? Да? Ведь да?

– Совсем нет! Теперь больше, чем когда-нибудь, не верю! – торопливо сказал Заметов.

– Попался наконец! Поймали воробушка. Стало быть, верили же прежде, когда теперь «больше, чем когда-нибудь, не верите»?

– Да совсем же нет! – восклицал Заметов, видимо сконфуженный. – Это вы для того-то и пугали меня, чтоб к этому подвести?

– Так не верите? А об чем вы без меня заговорили, когда я тогда из конторы вышел? А зачем меня поручик Порох допрашивал после обморока? Эй ты, – крикнул он половому, вставая и взяв фуражку, – сколько с меня?

– Тридцать копеек всего-с, – отвечал тот, подбегая.

– Да вот тебе еще двадцать копеек на водку. Ишь сколько денег! – протянул он Заметову свою дрожащую руку с кредитками, – красненькие, синенькие, двадцать пять рублей. Откудова? А откудова платье новое явилось? Ведь знаете же, что копейки не было! Хозяйку-то, небось, уж опрашивали… Ну, довольно! Assez causé! [Довольно болтать! (франц.)] До свидания… приятнейшего!..

Он вышел, весь дрожа от какого-то дикого истерического ощущения, в котором между тем была часть нестерпимого наслаждения, – впрочем мрачный, ужасно усталый. Лицо его было искривлено, как бы после какого-то припадка. Утомление его быстро увеличивалось. Силы его возбуждались и приходили теперь вдруг, с первым толчком, с первым раздражающим ощущением, и так же быстро ослабевали, по мере того как ослабевало ощущение.

А Заметов, оставшись один, сидел еще долго на том же месте, в раздумье. Раскольников невзначай перевернул все его мысли насчет известного пункта и окончательно установил его мнение.

«Илья Петрович – болван!» – решил он окончательно.

Третья часть. Порфирий Петрович обсуждает с Раскольниковым его статью о преступлении

…мне вспомнилась теперь, – а впрочем, и всегда интересовала меня, – одна ваша статейка: «О преступлении».. или как там у вас, забыл название, не помню. Два месяца назад имел удовольствие в «Периодической речи» прочесть.

– Моя статья? В «Периодической речи»? – с удивлением спросил Раскольников, – я действительно написал, полгода назад, когда из университета вышел, по поводу одной книги, одну статью, но я снес ее тогда в газету «Еженедельная речь», а не в «Периодическую».

– А попала в «Периодическую».

– Да ведь «Еженедельная речь» перестала существовать, потому тогда и не напечатали…

– Это правда-с; но, переставая существовать, «Еженедельная речь» соединилась с «Периодическою речью», а потому и статейка ваша, два месяца назад, явилась в «Периодической речи». А вы не знали?

Раскольников действительно ничего не знал.

– Помилуйте, да вы деньги можете с них спросить за статью! Какой, однако ж, у вас характер! Живете так уединенно, что таких вещей, до вас прямо касающихся, не ведаете. Это ведь факт-с.

– Браво, Родька! И я тоже не знал! – вскричал Разумихин. –

Сегодня же в читальню забегу и нумер спрошу! Два месяца назад? Которого числа? Всё равно разыщу! Вот штука-то! И не скажет!

– А вы почему узнали, что статья моя? Она буквой подписана.

– А случайно, и то на днях. Через редактора; я знаком… Весьма заинтересовался.

– Я рассматривал, помнится, психологическое состояние преступника в продолжение всего хода преступления.

– Да-с, и настаиваете, что акт исполнения преступления сопровождается всегда болезнию. Очень, очень оригинально, но… меня, собственно, не эта часть вашей статейки заинтересовала, а некоторая мысль, пропущенная в конце статьи, но которую вы, к сожалению, проводите только намеком, неясно… Одним словом, если припомните, проводится некоторый намек на то, что существуют на свете будто бы некоторые такие лица, которые могут… то есть не то что могут, а полное право имеют совершать всякие бесчинства и преступления, и что для них будто бы и закон не писан.

Раскольников усмехнулся усиленному и умышленному искажению своей идеи.

– Как? Что такое? Право на преступление? Но ведь не потому, что «заела среда»? – с каким-то даже испугом осведомился Разумихин.

– Нет, нет, не совсем потому, – ответил Порфирий. – Всё дело в том, что в ихней статье все люди как-то разделяются на «обыкновенных» и «необыкновенных». Обыкновенные должны жить в послушании и не имеют права переступать закона, потому что они, видите ли, обыкновенные. А необыкновенные имеют право делать всякие преступления и всячески преступать закон, собственно потому, что они необыкновенные. Так у вас, кажется, если только не ошибаюсь?

– Да как же это? Быть не может, чтобы так! – в недоумении бормотал Разумихин.

Раскольников усмехнулся опять. Он разом понял, в чем дело и на что его хотят натолкнуть; он помнил свою статью. Он решился принять вызов.

– Это не совсем так у меня, – начал он просто и скромно. – Впрочем, признаюсь, вы почти верно ее изложили, даже, если хотите, и совершенно верно… (Ему точно приятно было согласиться, что совершенно верно). Разница единственно в том, что я вовсе не настаиваю, чтобы необыкновенные люди непременно должны и обязаны были творить всегда всякие бесчинства, как вы говорите. Мне кажется даже, что такую статью и в печать бы не пропустили. Я просто-запросто намекнул, что «необыкновенный» человек имеет право… то есть не официальное

право, а сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть… через иные препятствия, и единственно в том только случае, если исполнение его идеи (иногда спасительной, может быть, для всего человечества) того потребует. Вы изволите говорить, что статья моя неясна; я готов ее вам разъяснить, по возможности. Я, может быть, не ошибусь, предполагая, что вам, кажется, того и хочется; извольте-с. По-моему, если бы Кеплеровы и Ньютоновы открытия вследствие каких-нибудь комбинаций никоим образом не могли бы стать известными людям иначе как с пожертвованием жизни одного, десяти, ста и так далее человек, мешавших бы этому открытию или ставших бы на пути как препятствие, то Ньютон имел бы право, и даже был бы обязан… *устранить* этих десять или сто человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству. Из этого, впрочем, вовсе не следует, чтобы Ньютон имел право убивать кого вздумается, встречных и поперечных, или воровать каждый день на базаре. Далее, помнится мне, я развиваю в моей статье, что все… ну, например, хоть законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и так далее, все до единого были преступники, уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древний, свято чтимый обществом и от отцов перешедший, и, уж конечно, не останавливались и перед кровью, если только кровь (иногда совсем невинная и доблестно пролитая за древний закон) могла им помочь. Замечательно даже, что большая часть этих благодетелей и установителей человечества были особенно страшные кровопроливцы. Одним словом, я вывожу, что и все, не то что великие, но и чуть-чуть из колеи выходящие люди, то есть чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое, должны, по природе своей, быть непременно преступниками, – более или менее, разумеется. Иначе трудно им выйти из колеи, а оставаться в колее они, конечно, не могут согласиться, опять-таки по природе своей, а по-моему, так даже и обязаны не соглашаться. Одним словом, вы видите, что до сих пор тут нет ничего особенно нового. Это тысячу раз было напечатано и прочитано. Что же касается до моего деления людей на обыкновенных и необыкновенных, то я согласен, что оно несколько произвольно, но ведь я же на точных цифрах и не настаиваю. Я только в главную мысль мою верю. Она именно состоит в том, что люди, по закону природы, разделяются *вообще* на два разряда: на низший (обыкновенных), то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей *новое*

слово. Подразделения тут, разумеется, бесконечные, но отличительные черты обоих разрядов довольно резкие: первый разряд, то есть материал, говоря вообще, люди по натуре своей консервативные, чинные, живут в послушании и любят быть послушными. По-моему, они и обязаны быть послушными, потому что это их назначение, и тут решительно нет ничего для них унизительного. Второй разряд, все преступают закон, разрушители или склонны к тому, судя по способностям. Преступления этих людей, разумеется, относительны и многоразличны; большею частию они требуют, в весьма разнообразных заявлениях, разрушения настоящего во имя лучшего. Но если ему надо, для своей идеи, перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя, по совести, может, по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь, – смотря, впрочем, по идее и по размерам ее, – это заметьте. В этом только смысле я и говорю в моей статье об их праве на преступление. (Вы припомните, у нас ведь с юридического вопроса началось). Впрочем, тревожиться много нечего: масса никогда почти не признает за ними этого права, казнит их и вешает (более или менее) и тем, совершенно справедливо, исполняет консервативное свое назначение, с тем, однако ж, что в следующих поколениях эта же масса ставит казненных на пьедестал и им поклоняется (более или менее). Первый разряд всегда – господин настоящего, второй разряд – господин будущего. Первые сохраняют мир и приумножают его численно; вторые двигают мир и ведут его к цели. И те, и другие имеют совершенно одинаковое право существовать. Одним словом, у меня все равносильное право имеют, и – vive la guerre éternelle, [1] – до Нового Иерусалима, разумеется!

– Так вы все-таки верите же в Новый Иерусалим?

– Верую, – твердо отвечал Раскольников; говоря это и в продолжение всей длинной тирады своей, он смотрел в землю, выбрав себе точку на ковре.

– И-и-и в бога веруете? Извините, что так любопытствую.

– Верую, – повторил Раскольников, поднимая глаза на Порфирия.

– И-и в воскресение Лазаря веруете?

– Ве-верую. Зачем вам всё это?

– Буквально веруете?

– Буквально.

– Вот как-с… так полюбопытствовал. Извините-с. Но позвольте, – обращаюсь к давешнему, – ведь их не всегда же казнят; иные напротив…

– Торжествуют при жизни? О да, иные достигают и при жизни, и тогда…

– Сами начинают казнить?

– Если надо и, знаете, даже большею частию. Вообще замечание ваше остроумно.

– Благодарю-с. Но вот что скажите: чем же бы отличить этих необыкновенных-то от обыкновенных? При рождении, что ль, знаки такие есть? Я в том смысле, что тут надо бы поболее точности, так сказать, более наружной определенности: извините во мне естественное беспокойство практического и благонамеренного человека, но нельзя ли тут одежду, например, особую завести, носить что-нибудь, клеймы там, что ли, какие?.. Потому, согласитесь, если произойдет путаница и один из одного разряда вообразит, что он принадлежит к другому разряду, и начнет «устранять все препятствия», как вы весьма счастливо выразились, так ведь тут…

– О, это весьма часто бывает! Это замечание ваше еще даже остроумнее давешнего.

– Благодарю-с…

– Не стоит-с; но примите в соображение, что ошибка возможна ведь только со стороны первого разряда, то есть «обыкновенных» людей (как я, может быть очень неудачно, их назвал). Несмотря на врожденную склонность их к послушанию, по некоторой игривости природы, в которой не отказано даже и корове, весьма многие из них любят воображать себя передовыми людьми, «разрушителями» и лезть в «новое слово», и это совершенно искренно-с. Действительно же *новых* они в то же время весьма часто не замечают и даже презирают, как отсталых и унизительно думающих людей. Но, по-моему, тут не может быть значительной опасности, и вам, право, нечего беспокоиться, потому что они никогда далеко не шагают. За увлечение, конечно, их можно иногда бы посечь, чтобы напомнить им свое место, но не более; тут и исполнителя даже не надо: они сами себя посекут, потому что очень благонравны; иные друг дружке эту услугу оказывают, а другие сами себя собственноручно… Покаяния разные публичные при сем на себя налагают, – выходит красиво и назидательно, одним словом, вам беспокоиться нечего… Такой закон есть.

– Ну, по крайней мере с этой стороны, вы меня хоть несколько успокоили; но вот ведь опять беда-с: скажите, пожалуйста, много ли таких людей, которые других-то резать право имеют, «необыкновенных-то» этих? Я, конечно, готов преклониться, но ведь согласитесь, жутко-с, если уж очень-то много их будет, а?

– О, не беспокойтесь и в этом, – тем же тоном продолжал Раскольников. – Вообще людей с новою мыслию, даже чуть-чуть только способных сказать хоть что-нибудь *новое,* необыкновенно мало рождается, даже до странности мало. Ясно только одно, что порядок зарождения людей, всех этих разрядов и подразделений, должно быть, весьма верно и точно определен каким-нибудь законом природы. Закон этот, разумеется, теперь неизвестен, но я верю, что он существует и впоследствии может стать и известным. Огромная масса людей, материал, для того только и существует на свете, чтобы наконец, чрез какое-то усилие, каким-то таинственным до сих пор процессом, посредством какого-нибудь перекрещивания родов и пород, понатужиться и породить наконец на свет, ну хоть из тысячи одного, хотя сколько-нибудь самостоятельного человека. Еще с более широкою самостоятельностию рождается, может быть, из десяти тысяч один (я говорю примерно, наглядно). Еще с более широкою – из ста тысяч один. Гениальные люди – из миллионов, а великие гении, завершители человечества, – может быть, по истечении многих тысячей миллионов людей на земле. Одним словом, в реторту, в которой всё это происходит, я не заглядывал. Но определенный закон непременно есть и должен быть; тут не может быть случая.

– Да что вы оба, шутите, что ль? – вскричал наконец Разумихин. – Морочите вы друг друга иль нет? Сидят и один над другим подшучивают! Ты серьезно, Родя?

Раскольников молча поднял на него свое бледное и почти грустное лицо и ничего не ответил. И странною показалась Разумихину, рядом с этим тихим и грустным лицом, нескрываемая, навязчивая, раздражительная и *невежливая* язвительность Порфирия.

– Ну, брат, если действительно это серьезно, то… Ты, конечно, прав, говоря, что это не ново и похоже на всё, что мы тысячу раз читали и слышали; но что действительно *оригинально* во всем этом, – и действительно принадлежит одному тебе, к моему ужасу, – это то, что все-таки кровь *по совести* разрешаешь, и, извини меня, с таким фанатизмом даже… В этом, стало быть, и главная мысль твоей статьи заключается. Ведь это разрешение крови *по совести,* это… это, по-моему, страшнее, чем бы официальное разрешение кровь проливать, законное…

– Совершенно справедливо, – страшнее-с, – отозвался Порфирий.

– Нет, ты как-нибудь да увлекся! Тут ошибка. Я прочту… Ты увлекся! Ты не можешь так думать… Прочту.

– В статье всего этого нет, там только намеки, – проговорил Раскольников.

– Так-с, так-с, – не сиделось Порфирию, – мне почти стало ясно теперь, как вы на преступление изволите смотреть-с, но… уж извините меня за мою назойливость (беспокою уж очень вас, самому совестно!) – видите ли-с: успокоили вы меня давеча очень-с насчет ошибочных-то случаев смешения обоих разрядов, но… меня всё тут практические разные случаи опять беспокоят! Ну как иной какой-нибудь муж, али юноша, вообразит, что он Ликург али Магомет… – будущий, разумеется, – да и давай устранять к тому все препятствия… Предстоит, дескать, далекий поход, а в поход деньги нужны… ну и начнет добывать себе для похода… знаете?

Заметов вдруг фыркнул из своего угла. Раскольников даже глаз на него не поднял.

– Я должен согласиться, – спокойно отвечал он, – что такие случаи действительно должны быть. Глупенькие и тщеславные особенно на эту удочку попадаются; молодежь в особенности.

– Вот видите-с. Ну так как же-с?

– Да и так же, – усмехнулся Раскольников, – не я в этом виноват. Так есть и будет всегда. Вот он (он кивнул на Разумихина) говорил сейчас, что я кровь разрешаю. Так что же? Общество ведь слишком обеспечено ссылками, тюрьмами, судебными следователями, каторгами, – чего же беспокоиться? И ищите вора!..

– Ну, а коль сыщем?

– Туда ему и дорога.

– Вы-таки логичны. Ну-с, а насчет его совести-то?

– Да какое вам до нее дело?

– Да так уж, по гуманности-с.

– У кого есть она, тот страдай, коль сознает ошибку. Это и наказание ему, – опричь каторги.

– Ну а действительно-то гениальные, – нахмурясь, спросил Разумихин, – вот те-то, которым резать-то право дано, те так уж и должны не страдать совсем, даже за кровь пролитую?

– Зачем тут слово: *должны?* Тут нет ни позволения, ни запрещения. Пусть страдает, если жаль жертву… Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть, – прибавил он вдруг задумчиво, даже не в тон разговора.

Он поднял глаза, вдумчиво посмотрел на всех, улыбнулся и взял фуражку. Он был слишком спокоен сравнительно с тем, как вошел давеча, и чувствовал это. Все встали.

– Ну-с, браните меня или нет, сердитесь иль нет, а я не могу утерпеть, – заключил опять Порфирий Петрович, – позвольте еще вопросик один (очень уж я вас беспокою-с!), одну только маленькую идейку хотел пропустить, единственно только чтобы не забыть-с…

– Хорошо, скажите вашу идейку, – серьезный и бледный стоял перед ним в ожидании Раскольников.

– Ведь вот-с… право, не знаю, как бы удачнее выразиться… идейка-то уж слишком игривенькая… психологическая-с… Ведь вот-с, когда вы вашу статейку-то сочиняли, – ведь уж быть того не может, хе-хе! чтобы вы сами себя не считали, ну хоть на капельку, – тоже человеком «необыкновенным» и говорящим *новое слово,* – в вашем то есть смысле-с… Ведь так-с?

– Очень может быть, – презрительно ответил Раскольников.

Разумихин сделал движение.

– А коль так-с, то неужели вы бы сами решились – ну там ввиду житейских каких-нибудь неудач и стеснений или для споспешествования как-нибудь всему человечеству – перешагнуть через препятствие-то?.. Ну, например, убить и ограбить?..

И он как-то вдруг опять подмигнул ему левым глазом и рассмеялся неслышно, – точь-в-точь как давеча.

– Если б я и перешагнул, то уж, конечно, бы вам не сказал, – с вызывающим, надменным презрением ответил Раскольников.

– Нет-с, это ведь я так только интересуюсь, собственно, для уразумения вашей статьи, в литературном только одном отношении-с…

«Фу, как это явно и нагло!» – с отвращением подумал Раскольников.

– Позвольте вам заметить, – отвечал он сухо, – что Магометом иль Наполеоном я себя не считаю… ни кем бы то ни было из подобных лиц, следственно, и не могу, не быв ими, дать вам удовлетворительного объяснения о том, как бы я поступил.

– Ну, полноте, кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает? – с страшною фамильярностию произнес вдруг Порфирий. Даже в интонации его голоса было на этот раз нечто уж особенно ясное.

– Уж не Наполеон ли какой будущий и нашу Алену Ивановну на прошлой неделе топором укокошил? – брякнул вдруг из угла Заметов.

Раскольников молчал и пристально, твердо смотрел на Порфирия. Разумихин мрачно нахмурился. Ему уж и прежде стало как будто что-то казаться. Он гневно посмотрел кругом. Прошла минута мрачного молчания. Раскольников повернулся

уходить.

Часть четвертая. Раскольников приходит к Соне

IV

А Раскольников пошел прямо к дому на канаве, где жила Соня. Дом был трехэтажный, старый и зеленого цвета. Он доискался дворника и получил от него неопределенные указания, где живет Капернаумов портной. Отыскав в углу на дворе вход на узкую и темную лестницу, он поднялся наконец во второй этаж и вышел на галерею, обходившую его со стороны двора. Покамест он бродил в темноте и в недоумении, где бы мог быть вход к Капернаумову, вдруг, в трех шагах от него, отворилась какая-то дверь; он схватился за нее машинально.

– Кто тут? – тревожно спросил женский голос.

– Это я… к вам, – ответил Раскольников и вошел в крошечную переднюю. Тут, на продавленном стуле, в искривленном медном подсвечнике, стояла свеча.

– Это вы! Господи! – слабо вскрикнула Соня и стала как вкопанная.

– Куда к вам? Сюда?

И Раскольников, стараясь не глядеть на нее, поскорей прошел в комнату.

Через минуту вошла со свечой и Соня, поставила свечу и стала сама перед ним, совсем растерявшаяся, вся в невыразимом волнении и, видимо, испуганная его неожиданным посещением. Вдруг краска бросилась в ее бледное лицо, и даже слезы выступили на глазах… Ей было и тошно, и стыдно, и сладко… Раскольников быстро отвернулся и сел на стул к столу. Мельком успел он охватить взглядом комнату.

Это была большая комната, но чрезвычайно низкая, единственная отдававшаяся от Капернаумовых, запертая дверь к которым находилась в стене слева. На противоположной стороне, в стене справа, была еще другая дверь, всегда запертая наглухо. Там уже была другая, соседняя квартира, под другим нумером. Сонина комната походила как будто на сарай, имела вид весьма неправильного четырехугольника, и это придавало ей что-то уродливое. Стена с тремя окнами, выходившая на канаву, перерезывала комнату как-то вкось, отчего один угол, ужасно острый, убегал куда-то вглубь, так что его, при слабом освещении, даже и разглядеть нельзя было хорошенько; другой же угол был уже слишком безобразно тупой. Во всей этой

большой комнате почти совсем не было мебели. В углу, направо, находилась кровать; подле нее, ближе к двери, стул. По той же стене, где была кровать, у самых дверей в чужую квартиру, стоял простой тесовый стол, покрытый синенькой скатертью; около стола два плетеных стула. Затем, у противоположной стены, поблизости от острого угла, стоял небольшой, простого дерева комод, как бы затерявшийся в пустоте. Вот всё, что было в комнате. Желтоватые, обшмыганные и истасканные обои почернели по всем углам; должно быть, здесь бывало сыро и угарно зимой. Бедность была видимая; даже у кровати не было занавесок.

Соня молча смотрела на своего гостя, так внимательно и бесцеремонно осматривавшего ее комнату, и даже начала, наконец, дрожать в страхе, точно стояла перед судьей и решителем своей участи.

– Я поздно… Одиннадцать часов есть? – спросил он, всё еще не подымая на нее глаз.

– Есть, – пробормотала Соня. – Ах да, есть! – заторопилась она вдруг, как будто в этом был для нее весь исход, – сейчас у хозяев часы пробили… и я сама слышала… Есть.

– Я к вам в последний раз пришел, – угрюмо продолжал Раскольников, хотя и теперь был только в первый, – я, может быть, вас не увижу больше…

– Вы… едете?

– Не знаю… всё завтра…

– Так вы не будете завтра у Катерины Ивановны? – дрогнул голос у Сони.

– Не знаю. Всё завтра утром… Не в том дело: я пришел одно слово сказать…

Он поднял на нее свой задумчивый взгляд и вдруг заметил, что он сидит, а она всё еще стоит перед ним.

– Что ж вы стоите? Сядьте, – проговорил он вдруг переменившимся, тихим и ласковым голосом.

Она села. Он приветливо и почти с состраданием посмотрел на нее с минуту.

– Какая вы худенькая! Вон какая у вас рука! Совсем прозрачная. Пальцы как у мертвой.

Он взял ее руку. Соня слабо улыбнулась.

– Я и всегда такая была, – сказала она.

– Когда и дома жили?

– Да.

– Ну, да уж конечно! – произнес он отрывисто, и выражение лица его, и звук голоса опять вдруг переменились. Он еще раз огляделся кругом.

– Это вы от Капернаумова нанимаете?

– Да-с…

– Они там, за дверью?

– Да… У них тоже такая же комната.

– Все в одной?

– В одной-с.

– Я бы в вашей комнате по ночам боялся, – угрюмо заметил он.

– Хозяева очень хорошие, очень ласковые, – отвечала Соня, всё еще как бы не опомнившись и не сообразившись, – и вся мебель, и всё… всё хозяйское. И они очень добрые, и дети тоже ко мне часто ходят…

– Это косноязычные-то?

– Да-с… Он заикается и хром тоже. И жена тоже… Не то что заикается, а как будто не всё выговаривает. Она добрая, очень. А он бывший дворовый человек. А детей семь человек… и только старший один заикается, а другие просто больные… а не заикаются… А вы откуда про них знаете? – прибавила она с некоторым удивлением.

– Мне ваш отец всё тогда рассказал. Он мне всё про вас рассказал… И про то, как вы в шесть часов пошли, а в девятом назад пришли, и про то, как Катерина Ивановна у вашей постели на коленях стояла.

Соня смутилась.

– Я его точно сегодня видела, – прошептала она нерешительно.

– Кого?

– Отца. Я по улице шла, там подле, на углу, в десятом часу, а он будто впереди идет. И точно как будто он. Я хотела уж зайти к Катерине Ивановне…

– Вы гуляли?

– Да, – отрывисто прошептала Соня опять смутившись и потупившись.

– Катерина Ивановна ведь вас чуть не била, у отца-то?

– Ах нет, что вы, что вы это, нет! – с каким-то даже испугом посмотрела на него Соня.

– Так вы ее любите?

– Ее? Да ка-а-ак же! – протянула Соня жалобно и с страданием сложив вдруг руки. – Ах! вы ее… Если б вы только знали. Ведь она совсем как ребенок… Ведь у ней ум совсем как помешан… от горя. А какая она умная была… какая великодушная… какая добрая! Вы ничего, ничего не знаете… ах!

Соня проговорила это точно в отчаянии, волнуясь и страдая, и ломая руки. Бледные щеки ее опять вспыхнули, в глазах

выразилась мука. Видно было, что в ней ужасно много затронули, что ей ужасно хотелось что-то выразить, сказать, заступиться. Какое-то *ненасытимое* сострадание, если можно так выразиться, изобразилось вдруг во всех чертах лица ее.

– Била! Да что вы это! Господи, била! А хоть бы и била, так что ж! Ну так что ж? Вы ничего, ничего не знаете… Это такая несчастная, ах, какая несчастная! И больная… Она справедливости ищет… Она чистая. Она так верит, что во всем справедливость должна быть, и требует… И хоть мучайте ее, а она несправедливого не сделает. Она сама не замечает, как это всё нельзя, чтобы справедливо было в людях, и раздражается… Как ребенок, как ребенок! Она справедливая, справедливая!

– А с вами что будет?

Соня посмотрела вопросительно.

– Они ведь на вас остались. Оно, правда, и прежде всё было на вас, и покойник на похмелье к вам же ходил просить. Ну, а теперь вот что будет?

– Не знаю, – грустно произнесла Соня.

– Они там останутся?

– Не знаю, они на той квартире должны; только хозяйка, слышно, говорила сегодня, что отказать хочет, а Катерина Ивановна говорит, что и сама ни минуты не останется.

– С чего ж это она так храбрится? На вас надеется?

– Ах нет, не говорите так!.. Мы одно, заодно живем, – вдруг опять взволновалась и даже раздражилась Соня, точь-в-точь как если бы рассердилась канарейка или какая другая маленькая птичка. – Да и как же ей быть? Ну как же, как же быть? – спрашивала она, горячась и волнуясь. – А сколько, сколько она сегодня плакала! У ней ум мешается, вы этого не заметили? Мешается; то тревожится, как маленькая, о том, чтобы завтра всё прилично было, закуски были и всё… то руки ломает, кровью харкает, плачет, вдруг стучать начнет головой об стену, как в отчаянии. А потом опять утешится, на вас она всё надеется: говорит, что вы теперь ей помощник и что она где-нибудь немного денег займет и поедет в свой город, со мною, и пансион для благородных девиц заведет, а меня возьмет надзирательницей, и начнется у нас совсем новая, прекрасная жизнь, и целует меня, обнимает, утешает, и ведь так верит! так верит фантазиям-то! Ну разве можно ей противоречить? А сама-то весь-то день сегодня моет, чистит, чинит, корыто сама, с своею слабенькою-то силой, в комнату втащила, запыхалась, так и упала на постель; а то мы в ряды еще с ней утром ходили, башмачки Полечке и Лене купить, потому у них все развалились, только у нас денег-то и недостало по расчету, очень много недостало, а

она такие миленькие ботиночки выбрала, потому у ней вкус есть, вы не знаете… Тут же в лавке так и заплакала, при купцах-то, что недостало… Ах, как было жалко смотреть.

– Ну и понятно после того, что вы… так живете, – сказал с горькою усмешкой Раскольников.

– А вам разве не жалко? Не жалко? – вскинулась опять Соня, – ведь вы, я знаю, вы последнее сами отдали, еще ничего не видя. А если бы вы всё-то видели, о господи! А сколько, сколько раз я ее в слезы вводила! Да на прошлой еще неделе! Ох, я! Всего за неделю до его смерти. Я жестоко поступила! И сколько, сколько раз я это делала. Ах как теперь целый день вспоминать было больно!

Соня даже руки ломала говоря, от боли воспоминания.

– Это вы-то жестокая?

– Да я, я! Я пришла тогда, – продолжала она плача, – а покойник и говорит: «прочти мне, говорит, Соня, у меня голова что-то болит, прочти мне… вот книжка», – какая-то книжка у него, у Андрея Семеныча достал, у Лебезятникова, тут живет, он такие смешные книжки всё доставал. А я говорю: «мне идти пора», так и не хотела прочесть, а зашла я к ним, главное чтоб воротнички показать Катерине Ивановне; мне Лизавета, торговка, воротнички и нарукавнички дешево принесла, хорошенькие, новенькие и с узором. А Катерине Ивановне очень понравились, она надела и в зеркало посмотрела на себя, и очень, очень ей понравились: «подари мне, говорит, их, Соня, пожалуйста». *Пожалуйста* попросила, и уж так ей хотелось. А куда ей надевать! Так: прежнее, счастливое время только вспомнилось! Смотрится на себя в зеркало, любуется, и никаких-то, никаких-то у ней платьев нет, никаких-то вещей, вот уж сколько лет! И ничего-то она никогда ни у кого не попросит; гордая, сама скорей отдаст последнее, а тут вот попросила, – так уж ей понравились! А я и отдать пожалела, «на что вам, говорю, Катерина Ивановна?» Так и сказала, «на что». Уж этого-то не надо было бы ей говорить! Она так на меня посмотрела, и так ей тяжело-тяжело стало, что я отказала, и так это было жалко смотреть… И не за воротнички тяжело, а за то, что я отказала, я видела. Ах, так бы, кажется, теперь всё воротила, всё переделала, все эти прежние слова… Ох, я… да что!.. вам ведь всё равно!

– Эту Лизавету торговку вы знали?

– Да… А вы разве знали? – с некоторым удивлением переспросила Соня.

– Катерина Ивановна в чахотке, в злой; она скоро умрет, – сказал Раскольников, помолчав и не ответив на вопрос.

– Ох, нет, нет, нет! – И Соня бессознательным жестом схватила его за обе руки, как бы упрашивая, чтобы нет.

– Да ведь это ж лучше, коль умрет.

– Нет, не лучше, не лучше, совсем не лучше! – испуганно и безотчетно повторяла она.

– А дети-то? Куда ж вы тогда возьмете их, коль не к вам?

– Ох, уж не знаю! – вскрикнула Соня почти в отчаянии и схватилась за голову. Видно было, что эта мысль уж много-много раз в ней самой мелькала, и он только вспугнул опять эту мысль.

– Ну а коль вы, еще при Катерине Ивановне, теперь, заболеете и вас в больницу свезут, ну что тогда будет? – безжалостно настаивал он.

– Ах, что вы, что вы! Этого-то уж не может быть! – и лицо Сони искривилось страшным испугом.

– Как не может быть? – продолжал Раскольников с жесткой усмешкой, – не застрахованы же вы? Тогда что с ними станется? На улицу всею гурьбой пойдут, она будет кашлять и просить, и об стену где-нибудь головой стучать, как сегодня, а дети плакать… А там упадет, в часть свезут, в больницу, умрет, а дети…

– Ох, нет!.. Бог этого не попустит! – вырвалось наконец из стесненной груди у Сони. Она слушала, с мольбой смотря на него и складывая в немой просьбе руки, точно от него всё и зависело.

Раскольников встал и начал ходить по комнате. Прошло с минуту. Соня стояла, опустив руки и голову, в страшной тоске.

– А копить нельзя? На черный день откладывать? – спросил он, вдруг останавливаясь перед ней.

– Нет, – прошептала Соня.

– Разумеется, нет! А пробовали? – прибавил он чуть не с насмешкой.

– Пробовала.

– И сорвалось! Ну, да разумеется! Что и спрашивать!

И опять он пошел по комнате. Еще прошло с минуту.

– Не каждый день получаете-то?

Соня больше прежнего смутилась, и краска ударила ей опять в лицо.

– Нет, – прошептала она с мучительным усилием.

– С Полечкой, наверно, то же самое будет, – сказал он вдруг.

– Нет! нет! Не может быть, нет! – как отчаянная, громко вскрикнула Соня, как будто ее вдруг ножом ранили. – Бог, бог такого ужаса не допустит!..

– Других допускает же.

– Нет, нет! Ее бог защитит, бог!.. – повторяла она, не помня себя.

– Да, может, и бога-то совсем нет, – с каким-то даже злорадством ответил Раскольников, засмеялся и посмотрел на нее.

Лицо Сони вдруг страшно изменилось: по нем пробежали судороги. С невыразимым укором взглянула она на него, хотела было что-то сказать, но ничего не могла выговорить и только вдруг горько-горько зарыдала, закрыв руками лицо.

– Вы говорите, у Катерины Ивановны ум мешается; у вас самой ум мешается, – проговорил он после некоторого молчания.

Прошло минут пять. Он всё ходил взад и вперед, молча и не взглядывая на нее. Наконец подошел к ней; глаза его сверкали. Он взял ее обеими руками за плечи и прямо посмотрел в ее плачущее лицо. Взгляд его был сухой, воспаленный, острый, губы его сильно вздрагивали… Вдруг он весь быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ее ногу. Соня в ужасе от него отшатнулась, как от сумасшедшего. И действительно, он смотрел как совсем сумасшедший.

– Что вы, что вы это? Передо мной! – пробормотала она, побледнев, и больно-больно сжало вдруг ей сердце.

Он тотчас же встал.

– Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился, – как-то дико произнес он и отошел к окну. – Слушай, – прибавил он, воротившись к ней через минуту, – я давеча сказал одному обидчику, что он не стоит одного твоего мизинца… и что я моей сестре сделал сегодня честь, посадив ее рядом с тобою.

– Ах, что вы это им сказали! И при ней? – испуганно вскрикнула Соня, – сидеть со мной! Честь! Да ведь я… бесчестная… я великая, великая грешница! Ах, что вы это сказали!

– Не за бесчестие и грех я сказал это про тебя, а за великое страдание твое. А что ты великая грешница, то это так, – прибавил он почти восторженно, – а пуще всего, тем ты грешница, что *понапрасну* умертвила и предала себя. Еще бы это не ужас! Еще бы не ужас, что ты живешь в этой грязи, которую так ненавидишь, и в то же время знаешь сама (только стоит глаза раскрыть), что никому ты этим не помогаешь и никого ни от чего не спасаешь! Да скажи же мне наконец, – проговорил он, почти в исступлении, – как этакой позор и такая низость в тебе рядом с другими противоположными и святыми чувствами совмещаются? Ведь справедливее, тысячу раз справедливее и разумнее было бы прямо головой в воду и разом покончить!

– А с ними-то что будет? – слабо спросила Соня, страдальчески взглянув на него, но вместе с тем как бы вовсе и не удивившись его предложению. Раскольников странно посмотрел на нее.

Он всё прочел в одном ее взгляде. Стало быть, действительно

у ней самой была уже эта мысль. Может быть, много раз и серьезно обдумывала она в отчаянии, как бы разом покончить, и до того серьезно, что теперь почти и не удивилась предложению его. Даже жестокости слов его не заметила (смысла укоров его и особенного взгляда его на ее позор она, конечно, тоже не заметила, и это было видимо для него). Но он понял вполне, до какой чудовищной боли истерзала ее, и уже давно, мысль о бесчестном и позорном ее положении. Что же, что же бы могло, думал он, по сих пор останавливать решимость ее покончить разом? И тут только понял он вполне, что значили для нее эти бедные, маленькие дети-сироты и эта жалкая, полусумасшедшая Катерина Ивановна, с своею чахоткой и со стуканием об стену головою.

Но тем не менее ему опять-таки было ясно, что Соня с своим характером и с тем все-таки развитием, которое она получила, ни в каком случае не могла так оставаться. Все-таки для него составляло вопрос: почему она так слишком уже долго могла оставаться в таком положении и не сошла с ума, если уж не в силах была броситься в воду? Конечно, он понимал, что положение Сони есть явление случайное в обществе, хотя, к несчастию, далеко не одиночное и не исключительное. Но эта-то самая случайность, эта некоторая развитость и вся предыдущая жизнь ее могли бы, кажется, сразу убить ее при первом шаге на отвратительной дороге этой. Что же поддерживало ее? Не разврат же? Ведь этот позор, очевидно, коснулся ее только механически; настоящий разврат еще не проник ни одною каплей в ее сердце: он это видел; она стояла перед ним наяву…

«Ей три дороги, – думал он: – броситься в канаву, попасть в сумасшедший дом, или… или, наконец, броситься в разврат, одурманивающий ум и окаменяющий сердце». Последняя мысль была ему всего отвратительнее; но он был уже скептик, он был молод, отвлеченен и, стало быть, жесток, а потому и не мог не верить, что последний выход, то есть разврат, был всего вероятнее.

«Но неужели ж это правда, – воскликнул он про себя, – неужели ж и это создание, еще сохранившее чистоту духа, сознательно втянется наконец в эту мерзкую, смрадную яму? Неужели это втягивание уже началось, и неужели потому только она и могла вытерпеть до сих пор, что порок уже не кажется ей так отвратительным? Нет, нет, быть того не может! – восклицал он, как давеча Соня, – нет, от канавы удерживала ее до сих пор мысль о грехе, и *они, те*… Если же она до сих пор еще не сошла с ума… Но кто же сказал, что она не сошла уже с ума? Разве она в здравом рассудке? Разве так можно говорить, как она? Разве в

здравом рассудке так можно рассуждать, как она? Разве так можно сидеть над погибелью, прямо над смрадною ямой, в которую уже ее втягивает, и махать руками, и уши затыкать, когда ей говорят об опасности? Что она, уж не чуда ли ждет? И наверно так. Разве всё это не признаки помешательства?»

Он с упорством остановился на этой мысли. Этот исход ему даже более нравился, чем всякий другой. Он начал пристальнее всматриваться в нее.

– Так ты очень молишься богу-то, Соня? – спросил он ее.

Соня молчала, он стоял подле нее и ждал ответа.

– Что ж бы я без бога-то была? – быстро, энергически прошептала она, мельком вскинув на него вдруг засверкавшими глазами, и крепко стиснула рукой его руку.

«Ну, так и есть!» – подумал он.

– А тебе бог что за это делает? – спросил он, выпытывая дальше.

Соня долго молчала, как бы не могла отвечать. Слабенькая грудь ее вся колыхалась от волнения.

– Молчите! Не спрашивайте! Вы не стоите!.. – вскрикнула она вдруг, строго и гневно смотря на него.

«Так и есть! так и есть!» – повторял он настойчиво про себя.

– Всё делает! – быстро прошептала она, опять потупившись.

«Вот и исход! Вот и объяснение исхода!» – решил он про себя, с жадным любопытством рассматривая ее.

С новым, странным, почти болезненным, чувством всматривался он в это бледное, худое и неправильное угловатое личико, в эти кроткие голубые глаза, могущие сверкать таким огнем, таким суровым энергическим чувством, в это маленькое тело, еще дрожавшее от негодования и гнева, и всё это казалось ему более и более странным, почти невозможным. «Юродивая! юродивая!» – твердил он про себя.

На комоде лежала какая-то книга. Он каждый раз, проходя взад и вперед, замечал ее; теперь же взял и посмотрел. Это был Новый завет в русском переводе. Книга была старая, подержанная, в кожаном переплете.

– Это откуда? – крикнул он ей через комнату. Она стояла всё на том же месте, в трех шагах от стола.

– Мне принесли, – ответила она, будто нехотя и не взглядывая на него.

– Кто принес?

– Лизавета принесла, я просила.

«Лизавета! Странно!» – подумал он. Всё у Сони становилось для него как-то страннее и чудеснее, с каждою минутой. Он перенес книгу к свече и стал перелистывать.

– Где тут про Лазаря? – спросил он вдруг.

Соня упорно глядела в землю и не отвечала. Она стояла немного боком к столу.

– Про воскресение Лазаря где? Отыщи мне, Соня.

Она искоса глянула на него.

– Не там смотрите… в четвертом евангелии… – сурово прошептала она, не подвигаясь к нему.

– Найди и прочти мне, – сказал он, сел, облокотился на стол, подпер рукой голову и угрюмо уставился в сторону, приготовившись слушать.

«Недели через три на седьмую версту, милости просим! Я, кажется, сам там буду, если еще хуже не будет», – бормотал он про себя.

Соня нерешительно ступила к столу, недоверчиво выслушав странное желание Раскольникова. Впрочем, взяла книгу.

– Разве вы не читали? – спросила она, глянув на него через стол, исподлобья. Голос ее становился всё суровее и суровее.

– Давно… Когда учился. Читай!

– А в церкви не слыхали?

– Я… не ходил. А ты часто ходишь?

– Н-нет, – прошептала Соня.

Раскольников усмехнулся.

– Понимаю… И отца, стало быть, завтра не пойдешь хоронить?

– Пойду. Я и на прошлой неделе была… панихиду служила.

– По ком?

– По Лизавете. Ее топором убили.

Нервы его раздражались всё более и более. Голова начала кружиться.

– Ты с Лизаветой дружна была?

– Да… Она была справедливая… она приходила… редко… нельзя было. Мы с ней читали и… говорили. Она бога узрит.

Странно звучали для него эти книжные слова, и опять новость: какие-то таинственные сходки с Лизаветой, и обе – юродивые.

«Тут и сам станешь юродивым! Заразительно!» – подумал он. – Читай! – воскликнул он вдруг настойчиво и раздражительно.

Соня всё колебалась. Сердце ее стучало. Не смела как-то она ему читать. Почти с мучением смотрел он на «несчастную помешанную».

– Зачем вам? Ведь вы не веруете?.. – прошептала она тихо и как-то задыхаясь.

– Читай! Я так хочу! – настаивал он, – читала же Лизавете!

Соня развернула книгу и отыскала место. Руки ее дрожали,

голосу не хватало. Два раза начинала она, и всё не выговаривалось первого слога.

«Был же болен некто Лазарь, из Вифании…» – произнесла она наконец, с усилием, но вдруг, с третьего слова, голос зазвенел и порвался, как слишком натянутая струна. Дух пересекло, и в груди стеснилось.

Раскольников понимал отчасти, почему Соня не решалась ему читать, и чем более понимал это, тем как бы грубее и раздражительнее настаивал на чтении. Он слишком хорошо понимал, как тяжело было ей теперь выдавать и обличать всё *свое.* Он понял, что чувства эти действительно как бы составляли настоящую и уже давнишнюю, может быть, *тайну* ее, может быть еще с самого отрочества, еще в семье, подле несчастного отца и сумасшедшей от горя мачехи, среди голодных детей, безобразных криков и попреков. Но в то же время он узнал теперь, и узнал наверно, что хоть и тосковала она и боялась чего-то ужасно, принимаясь теперь читать, но что вместе с тем ей мучительно самой хотелось прочесть, несмотря на всю тоску и на все опасения, и именно *ему,* чтоб он слышал, и непременно *теперь* – «что бы там ни вышло потом!»… Он прочел это в ее глазах, понял из ее восторженного волнения… Она пересилила себя, подавила горловую спазму, пресекшую в начале стиха ее голос, и продолжала чтение одиннадцатой главы Евангелия Иоаннова. Так дочла она до 19-го стиха:

«И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услыша, что идет Иисус, пошла навстречу ему; Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: господи! если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у бога, даст тебе бог».

Тут она остановилась опять, стыдливо предчувствуя, что дрогнет и порвется опять ее голос…

«Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. Иисус сказал ей: Я *есмь воскресение* и жизнь; верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит ему (и как бы с болью переведя дух, Соня раздельно и с силою прочла, точно сама во всеуслышание исповедовала):

Так, господи! Я верую, что ты Христос, сын божий, грядущий в мир».

Она было остановилась, быстро подняла было на *него* глаза, но поскорей пересилила себя и стала читать далее. Раскольников сидел и слушал неподвижно, не оборачиваясь, облокотясь на стол и смотря в сторону. Дочли до 32-го стиха.

«Мария же, пришедши туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его; и сказала ему: господи! если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам восскорбел духом и возмутился. И сказал: где вы положили его? Говорят ему: господи! поди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: смотри, как он любил его. А некоторые из них сказали: не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтоб и этот не умер?»

Раскольников обернулся к ней и с волнением смотрел на нее: да, так и есть! Она уже вся дрожала в действительной, настоящей лихорадке. Он ожидал этого. Она приближалась к слову о величайшем и неслыханном чуде, и чувство великого торжества охватило ее. Голос ее стал звонок, как металл; торжество и радость звучали в нем и крепили его. Строчки мешались перед ней, потому что в глазах темнело, но она знала наизусть, что читала. При последнем стихе: «не мог ли сей, отверзший очи слепому…» – она, понизив голос, горячо и страстно передала сомнение, укор и хулу неверующих, слепых иудеев, которые сейчас, через минуту, как громом пораженные, падут, зарыдают и уверуют… «И *он, он* – тоже ослепленный и неверующий, – он тоже сейчас услышит, он тоже уверует, да, да! сейчас же, теперь же», – мечталось ей, и она дрожала от радостного ожидания.

«Иисус же, опять скорбя внутренно, проходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему: господи! уже смердит; ибо *четыре* дни, как он во гробе».

Она энергично ударила на слово: *четыре.*

«Иисус говорит ей: не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу божию? Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав сие, воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. *И вышел умерший,* (громко и восторженно прочла она, дрожа и холодея, как бы в очию сама видела): обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами; и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его; пусть идет.

Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него».

Далее она не читала и не могла читать, закрыла книгу и быстро встала со стула.

– Всё об воскресении Лазаря, – отрывисто и сурово

прошептала она и стала неподвижно, отвернувшись в сторону, не смея и как бы стыдясь поднять на него глаза. Лихорадочная дрожь ее еще продолжалась. Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги. Прошло минут пять или более.

– Я о деле пришел говорить, – громко и нахмурившись проговорил вдруг Раскольников, встал и подошел к Соне. Та молча подняла на него глаза. Взгляд его был особенно суров, и какая-то дикая решимость выражалась в нем.

– Я сегодня родных бросил, – сказал он, – мать и сестру. Я не пойду к ним теперь. Я там всё разорвал.

– Зачем? – как ошеломленная спросила Соня. Давешняя встреча с его матерью и сестрой оставила в ней необыкновенное впечатление, хотя и самой ей неясное. Известие о разрыве выслушала она почти с ужасом.

– У меня теперь одна ты, – прибавил он. – Пойдем вместе… Я пришел к тебе. Мы вместе прокляты, вместе и пойдем!

Глаза его сверкали. «Как полоумный!» – подумала в свою очередь Соня.

– Куда идти? – в страхе спросила она и невольно отступила назад.

– Почему ж я знаю? Знаю только, что по одной дороге, наверно знаю, – и только. Одна цель!

Она смотрела на него, и ничего не понимала. Она понимала только, что он ужасно, бесконечно несчастен.

– Никто ничего не поймет из них, если ты будешь говорить им, – продолжал он, – а я понял. Ты мне нужна, потому я к тебе и пришел.

– Не понимаю… – прошептала Соня.

– Потом поймешь. Разве ты не то же сделала? Ты тоже переступила… смогла переступить. Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь… *свою* (это всё равно!). Ты могла бы жить духом и разумом, а кончишь на Сенной… Но ты выдержать не можешь, и если останешься *одна,* сойдешь с ума, как и я. Ты уж и теперь как помешанная; стало быть, нам вместе идти, по одной дороге! Пойдем!

– Зачем? Зачем вы это! – проговорила Соня, странно и мятежно взволнованная его словами.

– Зачем? Потому что так нельзя оставаться – вот зачем! Надо же, наконец, рассудить серьезно и прямо, а не по-детски плакать и кричать, что бог не допустит! Ну что будет, если в самом деле тебя завтра в больницу свезут? Та не в уме и чахоточная, умрет скоро, а дети? Разве Полечка не погибнет? Неужели не видала ты

здесь детей, по углам, которых матери милостыню высылают просить? Я узнавал, где живут эти матери и в какой обстановке. Там детям нельзя оставаться детьми. Там семилетний развратен и вор. А ведь дети – образ Христов: «Сих есть царствие божие». Он велел их чтить и любить, они будущее человечество…

– Что же, что же делать? – истерически плача и ломая руки повторяла Соня.

– Что делать? Сломать, что надо, раз навсегда, да и только: и страдание взять на себя! Что? Не понимаешь? После поймешь… Свободу и власть, а главное власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!.. Вот цель! Помни это! Это мое тебе напутствие! Может, я с тобой в последний раз говорю. Если не приду завтра, услышишь про всё сама, и тогда припомни эти теперешние слова. И когда-нибудь, потом, через годы, с жизнию, может, и поймешь, что они значили. Если же приду завтра, то скажу тебе, кто убил Лизавету. Прощай!

Соня вся вздрогнула от испуга.

– Да разве вы знаете, кто убил? – спросила она, леденея от ужаса и дико смотря на него.

– Знаю и скажу… Тебе, одной тебе! Я тебя выбрал. Я не прощения приду просить к тебе, я просто скажу. Я тебя давно выбрал, чтоб это сказать тебе, еще тогда, когда отец про тебя говорил и когда Лизавета была жива, я это подумал. Прощай. Руки не давай. Завтра!

Он вышел. Соня смотрела на него как на помешанного; но она и сама была как безумная и чувствовала это. Голова у ней кружилась. «Господи! как он знает, кто убил Лизавету? Что значили эти слова? Страшно это!» Но в то же время *мысль* не приходила ей в голову. Никак! Никак!.. «О, он должен быть ужасно несчастен!.. Он бросил мать и сестру. Зачем? Что было? И что у него в намерениях? Что это он ей говорил? Он ей поцеловал ногу и говорил… говорил (да, он ясно это сказал), что без нее уже жить не может… О господи!»

В лихорадке и в бреду провела всю ночь Соня. Она вскакивала иногда, плакала, руки ломала, то забывалась опять лихорадочным сном, и ей снились Полечка, Катерина Ивановна, Лизавета, чтение Евангелия и он… он, с его бледным лицом, с горящими глазами… Он целует ей ноги, плачет… О господи!

За дверью справа, за тою самою дверью, которая отделяла квартиру Сони от квартиры Гертруды Карловны Ресслих, была комната промежуточная, давно уже пустая, принадлежавшая к квартире госпожи Ресслих и отдававшаяся от нее внаем, о чем и выставлены были ярлычки на воротах и наклеены бумажечки на стеклах окон, выходивших на канаву. Соня издавна привыкла

считать эту комнату необитаемою. А между тем, всё это время, у двери в пустой комнате простоял господин Свидригайлов и, притаившись, подслушивал. Когда Раскольников вышел, он постоял, подумал, сходил на цыпочках в свою комнату, смежную с пустою комнатой, достал стул и неслышно принес его к самым дверям, ведущим в комнату Сони. Разговор показался ему занимательным и знаменательным, и очень, очень понравился, – до того понравился, что он и стул перенес, чтобы на будущее время, хоть завтра например, не подвергаться опять неприятности простоять целый час на ногах, а устроиться покомфортнее, чтоб уж во всех отношениях получить полное удовольствие.

ЭПИЛОГ

I

Сибирь. На берегу широкой, пустынной реки стоит город, один из административных центров России; в городе крепость, в крепости острог. В остроге уже девять месяцев заключен ссыльно-каторжный второго разряда, Родион Раскольников. Со дня преступления его прошло почти полтора года.

Судопроизводство по делу его прошло без больших затруднений. Преступник твердо, точно и ясно поддерживал свое показание, не запутывая обстоятельств, не смягчая их в свою пользу, не искажая фактов, не забывая малейшей подробности. Он рассказал до последней черты весь процесс убийства: разъяснил тайну *заклада* (деревянной дощечки с металлическою полоской), который оказался у убитой старухи в руках; рассказал подробно о том, как взял у убитой ключи, описал эти ключи, описал укладку и чем она была наполнена; даже исчислил некоторые из отдельных предметов, лежавших в ней; разъяснил загадку об убийстве Лизаветы; рассказал о том, как приходил и стучался Кох, а за ним студент, передав всё, что они между собой говорили; как он, преступник, сбежал потом с лестницы и слышал визг Миколки и Митьки; как он спрятался в пустой квартире, пришел домой, и в заключение указал камень на дворе, на Вознесенском проспекте, под воротами, под которым найдены были вещи и кошелек. Одним словом, дело вышло ясное. Следователи и судьи очень удивлялись, между прочим, тому, что он спрятал кошелек и вещи под камень, не воспользовавшись ими, а пуще всего тому, что он не только не помнил в подробности всех вещей, собственно им похищенных, но даже в числе их ошибся. То, собственно, обстоятельство, что он ни разу

не открыл кошелька и не знал даже, сколько именно в нем лежит денег, показалось невероятным (в кошельке оказалось триста семнадцать рублей серебром и три двугривенных; от долгого лежанья под камнем некоторые верхние, самые крупные, бумажки чрезвычайно попортились). Долго добивались разузнать: почему именно подсудимый в одном этом обстоятельстве лжет, тогда как во всем другом сознается добровольно и правдиво? Наконец, некоторые (особенно из психологов) допустили даже возможность того, что и действительно он не заглядывал в кошелек, а потому и не знал, что в нем было, и, не зная, так и снес под камень, но тут же из этого и заключали, что самое преступление не могло иначе и случиться как при некотором временном умопомешательстве, так сказать, при болезненной мономании убийства и грабежа, без дальнейших целей и расчетов на выгоду. Тут, кстати, подоспела новейшая модная теория временного умопомешательства, которую так часто стараются применять в наше время к иным преступникам. К тому же давнишнее ипохондрическое состояние Раскольникова было заявлено до точности многими свидетелями, доктором Зосимовым, прежними его товарищами, хозяйкой, прислугой. Всё это сильно способствовало заключению, что Раскольников не совсем похож на обыкновенного убийцу, разбойника и грабителя, но что тут что-то другое. К величайшей досаде защищавших это мнение, сам преступник почти не пробовал защищать себя; на окончательные вопросы: что именно могло склонить его к смертоубийству и что побудило его совершить грабеж, он отвечал весьма ясно, с самою грубою точностью, что причиной всему было его скверное положение, его нищета и беспомощность, желание упрочить первые шаги своей жизненной карьеры с помощью, по крайней мере, трех тысяч рублей, которые он рассчитывал найти у убитой. Решился же он на убийство вследствие своего легкомысленного и малодушного характера, раздраженного, сверх того, лишениями и неудачами. На вопросы же, что именно побудило его явиться с повинною, прямо отвечал, что чистосердечное раскаяние. Всё это было почти уже грубо…

Приговор, однако ж, оказался милостивее, чем можно было ожидать, судя по совершенному преступлению, и, может быть, именно потому, что преступник не только не хотел оправдываться, но даже как бы изъявлял желание сам еще более обвинить себя. Все странные и особенные обстоятельства дела были приняты во внимание. Болезненное и бедственное состояние преступника до совершения преступления не подвергалось ни малейшему сомнению. То, что он не воспользовался ограбленным, зачтено частию за действие

пробудившегося раскаяния, частию за несовершенно здравое состояние умственных способностей во время совершения преступления. Обстоятельство нечаянного убийства Лизаветы даже послужило примером, подкрепляющим последнее предположение: человек совершает два убийства и в то же время забывает, что дверь стоит отпертая! Наконец, явка с повинною, в то самое время, когда дело необыкновенно запуталось вследствие ложного показания на себя упавшего духом изувера (Николая) и, кроме того, когда на настоящего преступника не только ясных улик, но даже и подозрений почти не имелось (Порфирий Петрович вполне сдержал слово), всё это окончательно способствовало смягчению участи обвиненного.

Объявились, кроме того, совершенно неожиданно и другие обстоятельства, сильно благоприятствовавшие подсудимому. Бывший студент Разумихин откопал откуда-то сведения и представил доказательства, что преступник Раскольников, в бытность свою в университете, из последних средств своих помогал одному своему бедному и чахоточному университетскому товарищу и почти содержал его в продолжение полугода. Когда же тот умер, ходил за оставшимся в живых старым и расслабленным отцом умершего товарища (который содержал и кормил своего отца своими трудами чуть не с тринадцатилетнего возраста), поместил наконец этого старика в больницу, и когда тот тоже умер, похоронил его. Все эти сведения имели некоторое благоприятное влияние на решение судьбы Раскольникова. Сама бывшая хозяйка его, мать умершей невесты Раскольникова, вдова Зарницына, засвидетельствовала тоже, что, когда они еще жили в другом доме, у Пяти углов, Раскольников во время пожара, ночью, вытащил из одной квартиры, уже загоревшейся, двух маленьких детей, и был при этом обожжен. Этот факт был тщательно расследован и довольно хорошо засвидетельствован многими свидетелями. Одним словом, кончилось тем, что преступник присужден был к каторжной работе второго разряда, на срок всего только восьми лет, во уважение явки с повинною и некоторых облегчающих вину обстоятельств.

Еще в начале процесса мать Раскольникова сделалась больна. Дуня и Разумихин нашли возможным увезти ее из Петербурга на всё время суда. Разумихин выбрал город на железной дороге и в близком расстоянии от Петербурга, чтоб иметь возможность регулярно следить за всеми обстоятельствами процесса и в то же время как можно чаще видеться с Авдотьей Романовной. Болезнь Пульхерии Александровны была какая-то странная, нервная и сопровождалась чем-то вроде помешательства, если не

совершенно, то, по крайней мере, отчасти. Дуня, воротившись с последнего свидания с братом, застала мать уже совсем больною, в жару и в бреду. В этот же вечер сговорилась она с Разумихиным, что именно отвечать матери на ее расспросы о брате, и даже выдумала вместе с ним, для матери, целую историю об отъезде Раскольникова куда-то далеко, на границу России, по одному частному поручению, которое доставит ему наконец и деньги, и известность. Но их поразило, что ни об чем об этом сама Пульхерия Александровна ни тогда, ни потом не расспрашивала. Напротив, у ней у самой оказалась целая история о внезапном отъезде сына; она со слезами рассказывала, как он приходил к ней прощаться; давала при этом знать намеками, что только ей одной известны многие весьма важные и таинственные обстоятельства и что у Роди много весьма сильных врагов, так что ему надо даже скрываться. Что же касается до будущей карьеры его, то она тоже казалась ей несомненною и блестящею, когда пройдут некоторые враждебные обстоятельства; уверяла Разумихина, что сын ее будет со временем даже человеком государственным, что доказывает его статья и его блестящий литературный талант. Статью эту она читала беспрерывно, читала иногда даже вслух, чуть не спала вместе с нею, а все-таки, где именно находится теперь Родя, почти не расспрашивала, несмотря даже на то, что с нею видимо избегали об этом разговаривать, – что уже одно могло возбудить ее мнительность. Стали, наконец, бояться этого странного молчания Пульхерии Александровны насчет некоторых пунктов. Она, например, даже не жаловалась на то, что от него нет писем, тогда как прежде, живя в своем городке, только и жила одною надеждой и одним ожиданием получить поскорее письмо от возлюбленного Роди. Последнее обстоятельство было уж слишком необъяснимо и сильно беспокоило Дуню; ей приходила мысль, что мать, пожалуй, предчувствует что-нибудь ужасное в судьбе сына и боится расспрашивать, чтобы не узнать чего-нибудь еще ужаснее. Во всяком случае, Дуня ясно видела, что Пульхерия Александровна не в здравом состоянии рассудка.

Раза два, впрочем, случилось, что она сама так навела разговор, что невозможно было, отвечая ей, не упомянуть о том, где именно находится теперь Родя; когда же ответы поневоле должны были выйти неудовлетворительными и подозрительными, она стала вдруг чрезвычайно печальна, угрюма и молчалива, что продолжалось весьма долгое время. Дуня увидела наконец, что трудно лгать и выдумывать, и пришла к окончательному заключению, что лучше уж совершенно молчать об известных пунктах; но всё более и более становилось ясно до

очевидности, что бедная мать подозревает что-то ужасное. Дуня припомнила, между прочим, слова брата, что мать вслушивалась в ее бред, в ночь накануне того последнего рокового дня, после сцены ее с Свидригайловым: не расслышала ли она чего-нибудь тогда? Часто, иногда после нескольких дней и даже недель угрюмого, мрачного молчания и безмолвных слез, больная как-то истерически оживлялась и начинала вдруг говорить вслух, почти не умолкая, о своем сыне, о своих надеждах, о будущем… Фантазии ее были иногда очень странны. Ее тешили, ей поддакивали (она сама, может быть, видела ясно, что ей поддакивают и только тешат ее), но она все-таки говорила…

Пять месяцев спустя после явки преступника с повинной последовал его приговор. Разумихин виделся с ним в тюрьме, когда только это было возможно. Соня тоже. Наконец последовала и разлука; Дуня поклялась брату, что эта разлука не навеки; Разумихин тоже. В молодой и горячей голове Разумихина твердо укрепился проект положить в будущие три-четыре года, по возможности, хоть начало будущего состояния, скопить хоть несколько денег и переехать в Сибирь, где почва богата во всех отношениях, а работников, людей и капиталов мало; там поселиться в том самом городе, где будет Родя, и… всем вместе начать новую жизнь. Прощаясь, все плакали. Раскольников самые последние дни был очень задумчив, много расспрашивал о матери, постоянно о ней беспокоился. Даже уж очень о ней мучился, что тревожило Дуню. Узнав в подробности о болезненном настроении матери, он стал очень мрачен. С Соней он был почему-то особенно неговорлив во всё время. Соня, с помощью денег, оставленных ей Свидригайловым, давно уже собралась и изготовилась последовать за партией арестантов, в которой будет отправлен и он. Об этом никогда ни слова не было упомянуто между ею и Раскольниковым; но оба знали, что это так будет. В самое последнее прощанье он странно улыбался на пламенные удостоверения сестры и Разумихина о счастливой их будущности, когда он выйдет из каторги, и предрек, что болезненное состояние матери кончится вскоре бедой. Он и Соня наконец отправились.

Два месяца спустя Дунечка вышла замуж за Разумихина. Свадьба была грустная и тихая. Из приглашенных был, впрочем, Порфирий Петрович и Зосимов. Во всё последнее время Разумихин имел вид твердо решившегося человека. Дуня верила слепо, что он выполнит все свои намерения, да и не могла не верить: в этом человеке виднелась железная воля. Между прочим, он стал опять слушать университетские лекции, чтобы кончить курс. У них обоих составлялись поминутно планы будущего; оба

твердо рассчитывали чрез пять лет наверное переселиться в Сибирь. До той же поры надеялись там на Соню…

Пульхерия Александровна с радостью благословила дочь на брак с Разумихиным; но после этого брака стала как будто еще грустнее и озабоченнее. Чтобы доставить ей приятную минуту, Разумихин сообщил ей, между прочим, факт о студенте и дряхлом его отце и о том, что Родя был обожжен и даже хворал, спасши от смерти, прошлого года, двух малюток. Оба известия довели и без того расстроенную рассудком Пульхерию Александровну почти до восторженного состояния. Она беспрерывно говорила об этом, вступала в разговор и на улице (хотя Дуня постоянно сопровождала ее). В публичных каретах, в лавках, поймав хоть какого-нибудь слушателя, наводила разговор на своего сына, на его статью, как он помогал студенту, был обожжен на пожаре и прочее. Дунечка даже не знала, как удержать ее. Уж кроме опасности такого восторженного, болезненного настроения, одно уже то грозило бедой, что кто-нибудь мог припомнить фамилию Раскольникова по бывшему судебному делу и заговорить об этом. Пульхерия Александровна узнала даже адрес матери двух спасенных от пожара малюток и хотела непременно отправиться к ней. Наконец беспокойство ее возросло до крайних пределов. Она иногда вдруг начинала плакать, часто заболевала и в жару бредила. Однажды, поутру, она объявила прямо, что по ее расчетам скоро должен прибыть Родя, что она помнит, как он, прощаясь с нею, сам упоминал, что именно чрез девять месяцев надо ожидать его. Стала всё прибирать в квартире и готовиться к встрече, стала отделывать назначавшуюся ему комнату (свою собственную), отчищать мебель, мыть и надевать новые занавески и прочее. Дуня встревожилась, но молчала и даже помогала ей устраивать комнату к приему брата. После тревожного дня, проведенного в беспрерывных фантазиях, в радостных грезах и слезах, в ночь она заболела и наутро была уже в жару и в бреду. Открылась горячка. Чрез две недели она умерла. В бреду вырывались у ней слова, по которым можно было заключить, что она гораздо более подозревала в ужасной судьбе сына, чем даже предполагали.

Раскольников долго не знал о смерти матери, хотя корреспонденция с Петербургом установилась еще с самого начала водворения его в Сибири. Устроилась она чрез Соню, которая аккуратно каждый месяц писала в Петербург на имя Разумихина и аккуратно каждый месяц получала из Петербурга ответ. Письма Сони казались сперва Дуне и Разумихину как-то сухими и неудовлетворительными; но под конец оба они нашли, что и писать лучше невозможно, потому что и из этих писем в

результате получалось все-таки самое полное и точное представление о судьбе их несчастного брата. Письма Сони были наполняемы самою обыденною действительностью, самым простым и ясным описанием всей обстановки каторжной жизни Раскольникова. Тут не было ни изложения собственных надежд ее, ни загадок о будущем, ни описаний собственных чувств. Вместо попыток разъяснения его душевного настроения и вообще всей внутренней его жизни стояли одни факты, то есть собственные слова его, подробные известия о состоянии его здоровья, чего он пожелал тогда-то при свидании, о чем попросил ее, что поручил ей, и прочее. Все эти известия сообщались с чрезвычайною подробностью. Образ несчастного брата под конец выступил сам собою, нарисовался точно и ясно; тут не могло быть и ошибок, потому что всё были верные факты.

Но мало отрадного могли вывести Дуня и муж ее по этим известиям, особенно вначале. Соня беспрерывно сообщала, что он постоянно угрюм, несловоохотлив и даже почти нисколько не интересуется известиями, которые она ему сообщает каждый раз из получаемых ею писем; что он спрашивает иногда о матери; и когда она, видя, что он уже предугадывает истину, сообщила ему наконец об ее смерти, то, к удивлению ее, даже и известие о смерти матери на него как бы не очень сильно подействовало, по крайней мере так показалось ей с наружного вида. Она сообщала, между прочим, что, несмотря на то, что он, по-видимому, так углублен в самого себя и ото всех как бы заперся, – к новой жизни своей он отнесся очень прямо и просто; что он ясно понимает свое положение, не ожидает вблизи ничего лучшего, не имеет никаких легкомысленных надежд (что так свойственно в его положении) и ничему почти не удивляется среди новой окружающей его обстановки, так мало похожей на что-нибудь прежнее. Сообщила она, что здоровье его удовлетворительно. Он ходит на работы, от которых не уклоняется и на которые не напрашивается. К пище почти равнодушен, но что эта пища, кроме воскресных и праздничных дней, так дурна, что наконец он с охотой принял от нее, Сони, несколько денег, чтобы завести у себя ежедневный чай; насчет всего же остального просил ее не беспокоиться, уверяя, что все эти заботы о нем только досаждают ему. Далее Соня сообщала, что помещение его в остроге общее со всеми; внутренности их казарм она не видала, но заключает, что там тесно, безобразно и нездорово; что он спит на нарах, подстилая под себя войлок, и другого ничего не хочет себе устроить. Но что живет он так грубо и бедно вовсе не по какому-нибудь предвзятому плану или намерению, а так просто от невнимания и наружного равнодушия к своей судьбе. Соня прямо

писала, что он, особенно вначале, не только не интересовался ее посещениями, но даже почти досадовал на нее, был несловоохотлив и даже груб с нею, но что под конец эти свидания обратились у него в привычку и даже чуть не в потребность, так что он очень даже тосковал, когда она несколько дней была больна и не могла посещать его. Видится же она с ним по праздникам у острожных ворот или в кордегардии, куда его вызывают к ней на несколько минут; по будням же на работах, куда она заходит к нему, или в мастерских, или на кирпичных заводах, или в сараях на берегу Иртыша. Про себя Соня уведомляла, что ей удалось приобресть в городе даже некоторые знакомства и покровительства; что она занимается шитьем, и так как в городе почти нет модистки, то стала во многих домах даже необходимою; не упоминала только, что чрез нее и Раскольников получил покровительство начальства, что ему облегчаемы были работы, и прочее. Наконец пришло известие (Дуня даже приметила некоторое особенное волнение и тревогу в ее последних письмах), что он всех чуждается, что в остроге каторжные его не полюбили; что он молчит по целым дням и становится очень бледен. Вдруг, в последнем письме, Соня написала, что он заболел весьма серьезно и лежит в госпитале, в арестантской палате…

II

Он был болен уже давно; но не ужасы каторжной жизни, не работы, не пища, не бритая голова, не лоскутное платье сломили его: о! что ему было до всех этих мук и истязаний! Напротив, он даже рад был работе: измучившись на работе физически, он по крайней мере добывал себе несколько часов спокойного сна. И что значила для него пища – эти пустые щи с тараканами? Студентом, во время прежней жизни, он часто и того не имел. Платье его было тепло и приспособлено к его образу жизни. Кандалов он даже на себе не чувствовал. Стыдиться ли ему было своей бритой головы и половинчатой куртки? Но пред кем? Пред Соней? Соня боялась его, и пред нею ли было ему стыдиться?

А что же? Он стыдился даже и пред Соней, которую мучил за это своим презрительным и грубым обращением. Но не бритой головы и кандалов он стыдился: его гордость сильно была уязвлена; он и заболел от уязвленной гордости. О, как бы счастлив он был, если бы мог сам обвинить себя! Он бы снес тогда всё, даже стыд и позор. Но он строго судил себя, и ожесточенная совесть его не нашла никакой особенно ужасной

вины в его прошедшем, кроме разве простого *промаху,* который со всяким мог случиться. Он стыдился именно того, что он, Раскольников, погиб так слепо, безнадежно, глухо и глупо, по какому-то приговору слепой судьбы, и должен смириться и покориться пред «бессмыслицей» какого-то приговора, если хочет сколько-нибудь успокоить себя.

Тревога беспредметная и бесцельная в настоящем, а в будущем одна беспрерывная жертва, которою ничего не приобреталось, – вот что предстояло ему на свете. И что в том, что чрез восемь лет ему будет только тридцать два года и можно снова начать еще жить! Зачем ему жить? Что иметь в виду? К чему стремиться? Жить, чтобы существовать? Но он тысячу раз и прежде готов был отдать свое существование за идею, за надежду, даже за фантазию. Одного существования всегда было мало ему; он всегда хотел большего. Может быть, по одной только силе своих желаний он и счел себя тогда человеком, которому более разрешено, чем другому.

И хотя бы судьба послала ему раскаяние – жгучее раскаяние, разбивающее сердце, отгоняющее сон, такое раскаяние, от ужасных мук которого мерещится петля и омут! О, он бы обрадовался ему! Муки и слезы – ведь это тоже жизнь. Но он не раскаивался в своем преступлении.

По крайней мере, он мог бы злиться на свою глупость, как и злился он прежде на безобразные и глупейшие действия свои, которые довели его до острога. Но теперь, уже в остроге, *на свободе,* он вновь обсудил и обдумал все прежние свои поступки и совсем не нашел их так глупыми и безобразными, как казались они ему в то роковое время, прежде.

«Чем, чем, – думал он, – моя мысль была глупее других мыслей и теорий, роящихся и сталкивающихся одна с другой на свете, с тех пор как этот свет стоит? Стоит только посмотреть на дело совершенно независимым, широким и избавленным от обыденных влияний взглядом, и тогда, конечно, моя мысль окажется вовсе не так… странною. О отрицатели и мудрецы в пятачок серебра, зачем вы останавливаетесь на полдороге!

Ну чем мой поступок кажется им так безобразен? – говорил он себе. – Тем, что он – злодеяние? Что значит слово «злодеяние»? Совесть моя спокойна. Конечно, сделано уголовное преступление; конечно, нарушена буква закона и пролита кровь, ну и возьмите за букву закона мою голову… и довольно! Конечно, в таком случае даже многие благодетели человечества, не наследовавшие власти, а сами ее захватившие, должны бы были быть казнены при самых первых своих шагах. Но те люди вынесли свои шаги, и потому *они правы,* а я не вынес и, стало быть, я не

имел права разрешить себе этот шаг».

Вот в чем одном признавал он свое преступление: только в том, что не вынес его и сделал явку с повинною.

Он страдал тоже от мысли: зачем он тогда себя не убил? Зачем он стоял тогда над рекой и предпочел явку с повинною? Неужели такая сила в этом желании жить и так трудно одолеть его? Одолел же Свидригайлов, боявшийся смерти?

Он с мучением задавал себе этот вопрос и не мог понять, что уж и тогда, когда стоял над рекой, может быть, предчувствовал в себе и в убеждениях своих глубокую ложь. Он не понимал, что это предчувствие могло быть предвестником будущего перелома в жизни его, будущего воскресения его, будущего нового взгляда на жизнь.

Он скорее допускал тут одну только тупую тягость инстинкта, которую не ему было порвать и через которую он опять-таки был не в силах перешагнуть (за слабостию и ничтожностию). Он смотрел на каторжных товарищей своих и удивлялся: как тоже все они любили жизнь, как они дорожили ею! Именно ему показалось, что в остроге ее еще более любят и ценят, и более дорожат ею, чем на свободе. Каких страшных мук и истязаний не перенесли иные из них, например бродяги! Неужели уж столько может для них значить один какой-нибудь луч солнца, дремучий лес, где-нибудь в неведомой глуши холодный ключ, отмеченный еще с третьего года и о свидании с которым бродяга мечтает, как о свидании с любовницей, видит его во сне, зеленую травку кругом его, поющую птичку в кусте? Всматриваясь дальше, он видел примеры, еще более необъяснимые.

В остроге, в окружающей его среде, он, конечно, многого не замечал, да и не хотел совсем замечать. Он жил, как-то опустив глаза: ему омерзительно и невыносимо было смотреть. Но под конец многое стало удивлять его, и он, как-то поневоле, стал замечать то, чего прежде и не подозревал. Вообще же и наиболее стала удивлять его та страшная, та непроходимая пропасть, которая лежала между ним и всем этим людом. Казалось, он и они были разных наций. Он и они смотрели друг на друга недоверчиво и неприязненно. Он знал и понимал общие причины такого разъединения; но никогда не допускал он прежде, чтоб эти причины были на самом деле так глубоки и сильны. В остроге были тоже ссыльные поляки, политические преступники. Те просто считали весь этот люд за невежд и хлопов и презирали их свысока; но Раскольников не мог так смотреть: он ясно видел, что эти невежды во многом гораздо умнее этих самых поляков. Были тут и русские, тоже слишком презиравшие этот народ, – один бывший офицер и два семинариста; Раскольников ясно замечал и

их ошибку.

Его же самого не любили и избегали все. Его даже стали под конец ненавидеть – почему? Он не знал того. Презирали его, смеялись над ним, смеялись над его преступлением те, которые были гораздо его преступнее.

– Ты барин! – говорили ему. – Тебе ли было с топором ходить; не барское вовсе дело.

На второй неделе великого поста пришла ему очередь говеть вместе с своей казармой. Он ходил в церковь молиться вместе с другими. Из-за чего, он и сам не знал того, – произошла однажды ссора; все разом напали на него с остервенением.

– Ты безбожник! Ты в бога не веруешь! – кричали ему. – Убить тебя надо.

Он никогда не говорил с ними о боге и о вере, но они хотели убить его как безбожника; он молчал и не возражал им. Один каторжный бросился было на него в решительном исступлении; Раскольников ожидал его спокойно и молча: бровь его не шевельнулась, ни одна черта его лица не дрогнула. Конвойный успел вовремя стать между ним и убийцей – не то пролилась бы кровь.

Неразрешим был для него еще один вопрос: почему все они так полюбили Соню? Она у них не заискивала; встречали они ее редко, иногда только на работах, когда она приходила на одну минутку, чтобы повидать его. А между тем все уже знали ее, знали и то, что она *за ним* последовала, знали, как она живет, где живет. Денег она им не давала, особенных услуг не оказывала. Раз только, на рождестве, принесла она на весь острог подаяние: пирогов и калачей. Но мало-помалу между ними и Соней завязались некоторые более близкие отношения: она писала им письма к их родным и отправляла их на почту. Их родственники и родственницы, приезжавшие в город, оставляли, по указанию их, в руках Сони вещи для них и даже деньги. Жены их и любовницы знали ее и ходили к ней. И когда она являлась на работах, приходя к Раскольникову, или встречалась с партией арестантов, идущих на работы, – все снимали шапки, все кланялись: «Матушка, Софья Семеновна, мать ты наша, нежная, болезная!» – говорили эти грубые, клейменые каторжные этому маленькому и худенькому созданию. Она улыбалась и откланивалась, и все они любили, когда она им улыбалась. Они любили даже ее походку, оборачивались посмотреть ей вслед, как она идет, и хвалили ее; хвалили ее даже за то, что она такая маленькая, даже уж не знали, за что похвалить. К ней даже ходили лечиться.

Он пролежал в больнице весь конец поста и Святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда еще лежал в жару

и бреду. Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, – но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слыхал их слова и голоса.

Раскольникова мучило то, что этот бессмысленный бред так грустно и так мучительно отзывается в его воспоминаниях, что так долго не проходит впечатление этих горячешных грез. Шла уже вторая неделя после Святой; стояли теплые, ясные, весенние дни; в арестантской палате отворили окна (решетчатые, под которыми ходил часовой). Соня, во всё время болезни его, могла только два раза его навестить в палате; каждый раз надо было испрашивать разрешения, а это было трудно. Но она часто

приходила на госпитальный двор, под окна, особенно под вечер, а иногда так только, чтобы постоять на дворе минутку и хоть издали посмотреть на окна палаты. Однажды, под вечер, уже совсем почти выздоровевший Раскольников заснул; проснувшись, он нечаянно подошел к окну и вдруг увидел вдали, у госпитальных ворот, Соню. Она стояла и как бы чего-то ждала. Что-то как бы пронзило в ту минуту его сердце; он вздрогнул и поскорее отошел от окна. В следующий день Соня не приходила, на третий день тоже; он заметил, что ждет ее с беспокойством. Наконец его выписали. Придя в острог, он узнал от арестантов, что Софья Семеновна заболела, лежит дома и никуда не выходит.

Он был очень беспокоен, посылал о ней справляться. Скоро узнал он, что болезнь ее не опасна. Узнав в свою очередь, что он об ней так тоскует и заботится, Соня прислала ему записку, написанную карандашом, и уведомляла его, что ей гораздо легче, что у ней пустая, легкая простуда и что она скоро, очень скоро, придет повидаться с ним на работу. Когда он читал эту записку, сердце его сильно и больно билось.

День опять был ясный и теплый. Ранним утром, часов в шесть, он отправился на работу, на берег реки, где в сарае устроена была обжигательная печь для алебастра и где толкли его. Отправилось туда всего три работника. Один из арестантов взял конвойного и пошел с ним в крепость за каким-то инструментом; другой стал изготовлять дрова и накладывать в печь. Раскольников вышел из сарая на самый берег, сел на складенные у сарая бревна и стал глядеть на широкую и пустынную реку. С высокого берега открывалась широкая окрестность. С дальнего другого берега чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть приметными точками чернелись кочевые юрты. Там была свобода и жили другие люди, совсем не похожие на здешних, там как бы самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его. Раскольников сидел, смотрел неподвижно, не отрываясь; мысль его переходила в грезы, в созерцание; он ни о чем не думал, но какая-то тоска волновала его и мучила.

Вдруг подле него очутилась Соня. Она подошла едва слышно и села с ним рядом. Было еще очень рано, утренний холодок еще не смягчился. На ней был ее бедный, старый бурнус и зеленый платок. Лицо ее еще носило признаки болезни, похудело, побледнело, осунулось. Она приветливо и радостно улыбнулась ему, но, по обыкновению, робко протянула ему свою руку.

Она всегда протягивала ему свою руку робко, иногда даже не подавала совсем, как бы боялась, что он оттолкнет ее. Он всегда как бы с отвращением брал ее руку, всегда точно с досадой

встречал ее, иногда упорно молчал во всё время ее посещения. Случалось, что она трепетала его и уходила в глубокой скорби. Но теперь их руки не разнимались; он мельком и быстро взглянул на нее, ничего не выговорил и опустил свои глаза в землю. Они были одни, их никто не видел. Конвойный на ту пору отворотился.

Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, и всё лицо ее помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в тот же миг она всё поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье; она поняла, и для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее и что настала же наконец эта минута…

Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы; но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого.

Они положили ждать и терпеть. Им оставалось еще семь лет; а до тех пор столько нестерпимой муки и столько бесконечного счастия! Но он воскрес, и он знал это, чувствовал вполне всем обновившимся существом своим, а она – она ведь и жила только одною его жизнью!

Вечером того же дня, когда уже заперли казармы, Раскольников лежал на нарах и думал о ней. В этот день ему даже показалось, что как будто все каторжные, бывшие враги его, уже глядели на него иначе. Он даже сам заговаривал с ними, и ему отвечали ласково. Он припомнил теперь это, но ведь так и должно было быть: разве не должно теперь все измениться?

Он думал об ней. Он вспомнил, как он постоянно ее мучил и терзал ее сердце; вспомнил ее бледное, худенькое личико, но его почти и не мучили теперь эти воспоминания: он знал, какою бесконечною любовью искупит он теперь все ее страдания.

Да и что такое эти все, *все* муки прошлого! Всё, даже преступление его, даже приговор и ссылка, казались ему теперь, в первом порыве, каким-то внешним, странным, как бы даже и не с ним случившимся фактом. Он, впрочем, не мог в этот вечер долго и постоянно о чем-нибудь думать, сосредоточиться на чем-нибудь мыслью; да он ничего бы и не разрешил теперь сознательно; он только чувствовал. Вместо диалектики наступила жизнь, и в сознании должно было выработаться что-то совершенно другое.

Под подушкой его лежало Евангелие. Он взял его машинально. Эта книга принадлежала ей, была та самая, из

которой она читала ему о воскресении Лазаря. В начале каторги он думал, что она замучит его религией, будет заговаривать о Евангелии и навязывать ему книги. Но, к величайшему его удивлению, она ни разу не заговаривала об этом, ни разу даже не предложила ему Евангелия. Он сам попросил его у ней незадолго до своей болезни, и она молча принесла ему книгу. До сих пор он ее и не раскрывал.

Он не раскрыл ее и теперь, но одна мысль промелькнула в нем: «Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Ее чувства, ее стремления, по крайней мере…»

Она тоже весь этот день была в волнении, а в ночь даже опять захворала. Но она была до того счастлива, что почти испугалась своего счастья. Семь лет, *только* семь лет! В начале своего счастия, в иные мгновения, они оба готовы были смотреть на эти семь лет, как на семь дней. Он даже и не знал того, что новая жизнь не даром же ему достается, что ее надо еще дорого купить, заплатить за нее великим, будущим подвигом…

Но тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа, – но теперешний рассказ наш окончен.

Бедные люди

История создания и анализ произведения «Бедные люди»

Федор Михайлович начал работать над романом в январе 1844 г., когда был окончен перевод «Евгении Гранде» Бальзака. Он планировал опубликовать роман в октябре того же года в «Отечественных записках».

Однако к октябрю роман не завершен: работал над ним писатель кропотливо, с большим количеством редакций. Первая, ноябрьская редакция уже в декабре подверглась полной авторской переработке. В феврале – марте 1845 года писатель опять вносит изменения, переписывает роман, однако вновь начинает редактировать. Лишь в мае 1845 г. роман был наконец закончен.

Не успели высохнуть чернила на бумаге с этой редактурой романа, как Достоевский уже «на одном дыхании» читает свое произведение писателю Григоровичу, с которым вместе тогда квартировал. Потрясенный услышанным, Григорович хватает рукопись и тут же отправляется к Николаю Некрасову. Раздосадованный посещением позднего визитера, Некрасов дает себя уговорить прочитать хотя бы 10 страниц. Однако чтение продолжается всю ночь, до утра… Затем двое литераторов отправляются к Достоевскому, высказывают свой восторг, а тем же утром Некрасов отправляется с рукописью в дом Лопатина, где передаёт её Виссариону Белинскому со словами: «Новый Гоголь явился!». Не испытывая особого доверия к этим словам, «неистовый Виссарион», тем не менее, начинает чтение и… как можно уже заранее предположить, не в силах оторваться, дочитывает до конца. Уже на следующий день он встречается с Достоевским, высказывает свою оценку произведения (очень высокую) и приветствует явление нового светила на литературном небосклоне. Важность этой встречи для Достоевского переоценить невозможно – он поверил в себя и свой литературный дар.

Некрасов решил опубликовать роман в своем новом альманахе «Петербургский сборник», и уже в январе 1846 г. роман был опубликован.

Критика, современники и автор о романе

«И стал я разглядывать и вдруг увидел какие-то странные лица. Все это были странные, чудные фигуры, вполне прозаические, вовсе не Дон Карлосы и Позы, а вполне титулярные советники ‹…› И замерещилась мне тогда другая история, в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое, нравственное и преданное начальству, а вместе с ним какая-то девочка, оскорбленная и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история». (*Достоевский, «Петербургские сновидения в стихах и прозе», 1861*)

«Мелкий канцелярист – это ведущий персонаж натуральной школы, восходящей к петербургским повестям Гоголя. Но сердце честное и чистое в его груди, но надрывная грусть оскорбленной девочки – это уже внутренний мир человека, как определит романтизм Белинский, выделяя в этом движении прежде всего «сокровенную жизнь» человеческой личности». (*Л. П. Гроссман*) «…роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому ‹…›. Это первая попытка у нас социального романа, и сделанная притом так, как делают обыкновенно художники, то есть не подозревая и сами, что у них выходит». (*В. Белинский*)

Краткое содержание произведения

«Бедные люди» – роман в письмах: 31 письмо Макара Алексеевича Девушкина и 24 письма Вареньки Доброселовой. Макар Девушкин – титулярный советник сорока семи лет, переписывает бумаги в одном из петербургских департаментов. Жалованье его самое скромное, он тихо, незаметно жил, не замечаемый ни соседями, ни сослуживцами (разве что только для насмешек), пока не взял под свою опеку 17-летнюю дальнюю родственницу Вареньку, за которую, кроме него, и заступиться некому. Снимая для Вареньки удобную квартиру, Девушкин вынужден переехать из своей в более дешевую квартиру в «капитальном» доме возле Фонтанки, где он живет даже не в комнате, а за перегородкой в общей кухне. Однако сейчас комфорт для него не главное, он с радостью отдает последнее, лишь бы его «ясочке» было хорошо. Он счастлив заботиться о слабом и нежном существе.

Живя рядом, они редко видятся, так как Макар Алексеевич боится сплетен. Может, поэтому и начинается их переписка, со временем превратившаяся в источник тепла и сочувствия для обоих. В письмах они делятся воспоминаниями, мыслями, тревогами, поддерживают друг друга.

В письмах Девушкин описывает дом, где живет, – «Ноев ковчег» по обилию разношёрстной публики – с «гнилым, остро-услащённым запахом», в котором «чижики так и мрут». Соседи его – карточный игрок мичман, литератор Ратазяев, чиновник без места Горшков с семьёй. Хозяйка – «сущая ведьма».

Варя берет на дом работу – шитье. В те годы шитье было одним из немногих честных способов заработать на жизнь девице, у которой нет источников дохода. Вареньку тревожит то, что о ней собирает информацию Анна Федоровна, дальняя родственница. Когда Варя с матерью жили в её доме, эта бесчестная женщина («благодетельница»), якобы для покрытия расходов на Вареньку с матерью, предложила осиротевшую к тому времени девушку богатому помещику Быкову, который её обесчестил. Лишь преданный Макар спасает беззащитную девушку от окончательной «гибели». От страха, что сводня и Быков узнают ее адрес, девушка тяжело заболевает и месяц лежит без памяти. Макар преданно ухаживает за ней. Чтобы поставить свою Вареньку на ноги, продает новый вицмундир. Наконец Варенька выздоравливает и посылает заботливому другу записки с историей своей жизни: как прошло ее детство на лоне деревенской природы, как начались беды (отец потерял место,

семья переехала в «тоскливый», «гнилой» Петербург, отец умер, мать надрывалась в попытках обеспечить их с дочерью; рассказала о дружбе своей со студентом Петей, а затем, как умерла мать). Макар отвечает рассказом о своей жизни, о сослуживцах, которые видят в нем лишь комическую фигуру.

Варенька и Макар очень редко, но радуют себя встречами: ездят гулять на острова, посещают театр. Макар так счастлив, словно Господь благословил его своей собственной семьей.

Однако же траты оказываются для Девушкина непосильными: деньги кончаются. К Вареньке по наущению квартирной хозяйке является «искатель» с недостойным предложением. Макар от отчаяния уходит в запой. Он пробует занять под проценты денег. Варенька шьет, но здоровье ее надорвано, заработок дается с трудом. Нежные чувства друг к другу поддерживают героев: чем труднее становятся их обстоятельства, тем больше света и тепла они находят в душах друг для друга.

Тем временем о Вареньке разузнает Быков (тот самый помещик, что обесчестил ее) и является к ней свататься. Цель у него самая приземленная – завести законных детей, чтобы лишить наследства «негодного племянника». Если Варя против, он женится на московской купчихе. Несмотря на бесцеремонность и грубость предложения, девушка соглашается: «Если кто может ‹…› возвратить мне честное имя, отвратить от меня бедность ‹…› так это единственно он». Макар отговаривает: «сердечку-то вашему будет холодно!» Заболев от горя, он все же до последнего дня помогает готовиться к отъезду, хлопочет.

30 сентября – свадьба. В тот же день, накануне отъезда в поместье Быкова, Варенька пишет письмо-прощание сердечному другу: «На кого вы здесь останетесь, добрый, бесценный, единственный!»

Ответ полон отчаяния: «Я и работал, и бумаги писал, и ходил, и гулял, ‹…› все оттого, что вы ‹…› здесь, напротив, поблизости жили». Холодное чувство одиночества подступило к бедному Макару: ему кажется, что он никому не нужен, а жизнь теперь разрушена…

Бесы

История создания и анализ романа «Бесы»

Роман «Бесы» был вызван к жизни обстоятельствами прогремевшего «нечаевского дела». Личность руководителя тайного общества «Народная расправа», реальный случай, когда некто И.И. Иванов был убит пятью членами организации, – вот события, определившие канву романа. В фокусе внимания писателя, как обычно, – обстоятельства преступления, идеологическая и психологическая подоплека, личности участников. В процессе работы над романом замысел многократно видоизменялся. Первоначально это был непосредственный отклик на события, затем пространство романа расширяется и в него попадают все «приметы времени» и исторические личности: либералы, петрашевцы, декабристы. Хотя формально главный герой – Петр Верховенский (Нечаев), однако напряженное внимание читателя держит демоническая, по-своему притягательная фигура «все позволившего» себе Николая Ставрогина. Как фон повествования – «бесовство» отдельных персонажей, а также Верховенского и всей «тайной организации». Это бесовство – и есть болезнь России, переживаемая в тот момент.

Краткое содержание романа

О событиях романа повествует хроникер Г-в, который в них также участвует. Вводя читателя в курс дела, рассказчик обращается к портрету Степана Трофимовича Верховенского, личность которого окружена ореолом вольнодумства. Говорили (и он сам старательно поддерживал эти слухи), что жил он в губернском городе, где разворачивается действие романа, чуть ли не в ссылке, хотя на деле он и под наблюдением никогда не был. С тонким юмором рассказчик описывает некую «поэму» – сочинение Степана Трофимовича, где запел даже минерал и явилась черепаха с латинским изречением, однако смысла которой понять решительно невозможно. Степан Трофимович – воспитатель сына Варвары Петровны Ставрогиной, который после того как его воспитанник вырос и покинул родительское гнездо, на долгие годы остался при Варваре Петровне, пользуясь ее покровительством. Их связывают отношения возвышенной платонической дружбы, которые после смерти мужа Ставрогиной могли бы окончиться вполне земным браком, однако Степан Трофимович решительного шага не сделал.

Вокруг Верховенского группируется местная либерально настроенная молодежь. Хотя Петр Трофимович имеет манеры самые достойные, умен и начитан, однако дальше слов у него не идет. Годами собирается начать некие «заметки» или «труд», но жизнь на полном пансионе, видимо, расхолаживает порывы к работе. Истинная страсть Верховенского – карты, где он делает значительные долги, выплачивать которые ему помогает та же Варвара Петровна.

Ожидается приезд Николая Ставрогина, о личности и поведении которого ходит много слухов: служба в элитном полку, участие в дуэли, после которой он был разжалован, однако выслужился. На счету Николая Ставрогина – кутежи, «дикая разнузданность».

Рассказчик вспоминает, как четыре года назад, приехав в родной город, Ставрогин отличился безобразными выходками: провел у всех на глазах за нос уважаемого человека, поцеловал чужую жену, укусил губернатора за ухо – наконец, был заключен под стражу, после чего обнаружилась у него белая горячка, на которую все и списали. Выздоровев, Ставрогин уехал за границу.

Мать Николая, Варвара Петровна Ставрогина заинтересована в его браке с дочерью приятельницы – Лизой Тушиной, а поскольку сын проявляет внимание к воспитаннице Варвары Петровны Даше, решает женить на Даше своего друга Степана

Трофимовича.

Николай Ставрогин является раньше, чем ожидали, с ним – Петр Верховенский (сын Степана Трофимовича). По подозрению матери, он женат на «юродивой» Марье Тимофеевне Лебядкиной (Хромоножке).

Ставрогин никого не принимает восемь дней. Затем происходит ряд встреч. Сначала – Петр Верховенский, который готов на все для Ставрогина и зовет того на собрание тайного общества. Затем – инженер Кириллов, со своею идеей: Бог есть «боль страха смерти», и чтобы избавиться от этой боли и заявить свою волю, надо убить себя и таким образом стать подобным Богу. Третья встреча – с Шатовым (бывший член революционного движения, разочаровавшийся в их идеях). Шатову Ставрогин сообщает о том, что действительно женат на Хромоножке и предупреждает о том, что его (Шатова) собираются убить. Бывший революционер излагает ему свою идею о русском народе-богоносце и ту мысль, что Бога нужно добиваться мужицким трудом. Правда, в своей вере Шатов нестоек.

Ночью у Николая новые встречи: по дороге к Лебядкину он встречает беглого Федьку Каторжного, подосланного к нему Петром Верховенским. За плату Федька готов исполнить всё. Лебядкину Ставрогин сообщает, что собирается объявить о своём браке с Марьей Тимофеевной (он женился на ней «…после пьяного обеда, из-за пари на вино…»). Марья Тимофеевна рассказывает Ставрогину недобрый сон, а на его предложение уехать вместе с ним в Швейцарию и там вместе уединённо прожить до конца жизни – возмущается, впадает в припадок, кричит, что ее князя подменили, а Ставрогин – самозванец с ножом в кармане. Тот поспешно скрывается. На обратном пути он бросает Федьке Каторжному деньги.

За оскорбление, нанесенное отцу несколько лет назад, в первый приезд Ставрогина, Николая вызывает на дуэль дворянин Артемий Гаганов. Трижды Гаганов промахивается, а Ставрогин стреляет в воздух: он не хочет убивать. Этот поступок вызывает в обществе одобрение.

Фон у всех этих событий в городе неспокойный: жестокие забавы, поджоги или пожары, холера, недовольство рабочих и призвания к бунту…

Гремит гром и в отношениях Варвары Петровны и Степана Трофимовича: оскорбленная его желанием жениться (хоть свадьбу затеяла именно она) и его высказываниями в письмах сыну, она назначает ему пансион, но объявляет о разрыве.

Петр Верховенский действует сразу в нескольких направлениях. В доме губернатора он показывает готовность

раскрыть тайную организацию, выдает имена Шатова и Кириллова. Затем он забегает к Кириллову и Шатову, уведомляя их о тайном собрании и прося быть, после чего заходит за Ставрогиным. Вместе с Верховенским они отправляются на тайное собрание.

На собрании выступает Шигалев, развивая идею разделения человечества на две неравные части, из которых одна десятая получает свободу и безграничное право над остальными девятью десятыми (стадом). Затем Верховенский предлагает провокационный вопрос, донесли ли бы участники собрания, если б узнали о намечающемся политическом убийстве. Неожиданно Шатов обвиняет Верховенского в подлости, называет шпионом и покидает собрание. Это и нужно Петру, который уже наметил Шатова в жертвы, чтобы кровью скрепить образованную революционную группу. Верховенский посвящает Кириллова и Ставрогина в свои замыслы о большой смуте: «Раскачка такая пойдёт, какой мир ещё не видал… Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам…» Тут-то и явится Ставрогин, словно Иван-царевич.

Одно за другим следуют необычные события: «описывают» (забирают бумаги) старшего Верховенского, рабочие-шпигулинцы посылают к губернатору просителей (тот видит в этом начало бунта), Ставрогин объявляет обществу, что Лебядкина – его жена.

Наступает праздник, устроенный губернаторшей. Пока идет первая часть, становится известно о безумном поступке Лизы Тушиной: она пересела из своей кареты, где была с женихом Маврикием Николаевичем, в карету Ставрогина и укатила в его имение Скворешники. Гвоздь второй части праздника – аллегорическая «кадриль литературы», и это зрелище возмущает губернатора с женой. Тут-то и сообщают, что горит Заречье, якобы подожжённое шпигулинскими, позже становится известно и об убийстве капитана Лебядкина, его сестры и служанки. Губернатор едет на пожар, там на него падает бревно.

Лиза и Николай вместе встречают утро в Скворешниках. Николай настроен сентиментально, Лиза – язвительно. Появляется Петр Верховенский, сообщает подробности убийства и пожара в Заречье. Когда Ставрогин признаётся Лизе, что знал о готовящемся убийстве и не остановил – она покидает его и вместе с преданным Маврикием, который ждал ее под дождем всю ночь, направляется к месту преступления.

На месте пожара, ярость толпы обращается на Лизу: прошел слух, что убийство затеял Ставрогин, чтобы избавиться от нелюбимой жены и жениться на Лизе. Преданный жених успевает слишком поздно: от нескольких сильных ударов Лиза лишается

чувств, ее несет толпа.

Петр Верховенский действует подло: собравшейся «пятерке» он сообщает о том, что готовится донос. Доносчика Шатова нужно убить. На роль исполнителя выбирается Кириллов который и так собирается себя убить, ну а почему бы перед этим не взять на себя и еще одно убийство?

У Шатова – радость, к нему приезжает жена, которая бросила его сразу после свадьбы. Она беременна, нуждается в пристанище. Шатов помогает ей, ночью начинаются роды, и Шатов бежит за акушеркой. Все проходит хорошо, и Шатов засыпает в мечтах о новой жизни, с женой и ребенком. На следующее утро он вместе с офицером Эркелем отправляется на запланированную встречу в ставрогинский парк.

Там и происходит злодеяние. Его уже ждут Верховенский, Виргинский, Липутин, Лямшин, Толкаченко и Шигалев, который внезапно отказывается принимать участие в убийстве.

На Шатова нападают. Верховенский выстрелом из револьвера в упор убивает его. К телу привязывают два больших камня и бросают в пруд. Верховенский спешит к Кириллову. Тот хоть и негодует, однако обещание выполняет – пишет под диктовку записку и берет на себя вину за убийство Шатова, а затем стреляется. Верховенский собирает вещи и уезжает в Петербург, затем за границу.

Тем временем Степан Трофимович отправляется в путь. Он рассказывает всю свою жизнь случайной попутчице, а та читает ему Евангелие, и он сравнивает одержимого, из которого Христос изгнал бесов, вошедших в свиней, с Россией. Умирает он на руках своего доброго друга Варвары Петровны, которая примчалась за ним, в крестьянской избе.

Все сообщники-убийцы вскоре арестованы (по доносу Лямшина), лишь Верховенский вышел сухим из воды. Дарья Шатова получает письмо – исповедь Ставрогина, который пишет, что из него «вылилось одно отрицание, без всякого великодушия и безо всякой силы». Он купил маленький домик в кантоне Ури, куда и зовет Дарью. Дарья дает прочесть письмо Варваре Петровне, но тут обе узнают, что Ставрогин неожиданно появился в Скворешниках. Они торопятся туда и находят Николая повесившимся в мезонине.

Ключевые сцены романа «Бесы»

Часть первая. Глава первая. Вместо введения: несколько подробностей из биографии многочтимого Степана Трофимовича Верховенского

I

Приступая к описанию недавних и столь странных событий, происшедших в нашем, доселе ничем не отличавшемся городе, я принужден, по неумению моему, начать несколько издалека, а именно некоторыми биографическими подробностями о талантливом и многочтимом Степане Трофимовиче Верховенском. Пусть эти подробности послужат лишь введением к предлагаемой хронике, а самая история, которую я намерен описывать, еще впереди.

Скажу прямо: Степан Трофимович постоянно играл между нами некоторую особую и, так сказать, гражданскую роль и любил эту роль до страсти, – так даже, что, мне кажется, без нее и прожить не мог. Не то чтоб уж я его приравнивал к актеру на театре: сохрани боже, тем более что сам его уважаю. Тут всё могло быть делом привычки, или, лучше сказать, беспрерывной и благородной склонности, с детских лет, к приятной мечте о красивой гражданской своей постановке. Он, например, чрезвычайно любил свое положение «гонимого» и, так сказать, «ссыльного». В этих обоих словечках есть своего рода классический блеск, соблазнивший его раз навсегда, и, возвышая его потом постепенно в собственном мнении, в продолжение столь многих лет, довел его наконец до некоторого весьма высокого и приятного для самолюбия пьедестала. В одном сатирическом английском романе прошлого столетия некто Гулливер, возвратясь из страны лилипутов*, где люди были всего в какие-нибудь два вершка росту*, до того приучился считать себя между ними великаном, что, и ходя по улицам Лондона, невольно кричал прохожим и экипажам, чтоб они пред ним сворачивали и остерегались, чтоб он как-нибудь их не раздавил, воображая, что он всё еще великан, а они маленькие. За это смеялись над ним и бранили его, а грубые кучера даже стегали великана кнутьями; но справедливо ли? Чего не может сделать привычка? Привычка привела почти к тому же и Степана Трофимовича, но еще в более невинном и безобидном виде, если

можно так выразиться, потому что прекраснейший был человек.

Я даже так думаю, что под конец его. все и везде позабыли; но уже никак ведь нельзя сказать, что и прежде совсем не знали. Бесспорно, что и он некоторое время принадлежал к знаменитой плеяде иных прославленных деятелей нашего прошедшего поколения, и одно время, – впрочем, всего только одну самую маленькую минуточку, – его имя многими тогдашними торопившимися людьми произносились чуть не наряду с именами Чаадаева, Белинского, Грановского и только что начинавшего тогда за границей Герцена. Но деятельность Степана Трофимовича окончилась почти в ту же минуту, как и началась, – так сказать от «вихря сошедшихся обстоятельств»*. И что же? Не только «вихря», но даже и «обстоятельств» совсем потом не оказалось, по крайней мере в этом случае. Я только теперь, на днях, узнал, к величайшему моему удивлению, но зато уже в совершенной достоверности, что Степан Трофимович проживал между нами, в нашей губернии, не только не в ссылке, как принято было у нас думать, но даже и под присмотром никогда не находился. Какова же после этого сила собственного воображения! Он искренно сам верил всю свою жизнь, что в некоторых сферах его постоянно опасаются, что шаги его беспрерывно известны и сочтены и что каждый из трех сменившихся у нас в последние двадцать лет губернаторов, въезжая править губернией, уже привозил с собою некоторую особую и хлопотливую о нем мысль, внушенную ему свыше и прежде всего, при сдаче губернии. Уверь кто-нибудь тогда честнейшего Степана Трофимовича неопровержимыми доказательствами, что ему вовсе нечего опасаться, и он бы непременно обиделся. А между тем это был ведь человек умнейший и даровитейший, человек, так сказать, даже науки, хотя, впрочем, в науке… ну, одним словом, в науке он сделал не так много и, кажется, совсем ничего*. Но ведь с людьми науки у нас на Руси это сплошь да рядом случается.

Он воротился из-за границы и блеснул в виде лектора на кафедре университета уже в самом конце сороковых годов. Успел же прочесть всего только несколько лекций, и, кажется, об аравитянах*; успел тоже защитить блестящую диссертацию о возникавшем было гражданском и ганзеатическом значении немецкого городка Ганау, в эпоху между 1413 и 1428 годами, а вместе с тем и о тех особенных и неясных причинах, почему значение это вовсе не состоялось. Диссертация эта ловко и больно уколола тогдашних славянофилов* и разом доставила ему между ними многочисленных и разъяренных врагов. Потом – впрочем, уже после потери кафедры – он успел напечатать (так сказать, в

виде отместки и чтоб указать, кого они потеряли) в ежемесячном и прогрессивном журнале, переводившем из Диккенса и проповедовавшем Жорж Занда*, начало одного глубочайшего исследования – кажется, о причинах необычайного нравственного благородства каких-то рыцарей в какую-то эпоху или что-то в этом роде. По крайней мере проводилась какая-то высшая и необыкновенно благородная мысль. Говорили потом, что продолжение исследования было поспешно запрещено и что даже прогрессивный журнал пострадал за напечатанную первую половину. Очень могло это быть, потому что чего тогда не было? Но в данном случае вероятнее, что ничего не было и что автор сам поленился докончить исследование. Прекратил же он свои лекции об аравитянах потому, что перехвачено было как-то и кем-то (очевидно, из ретроградных врагов его) письмо к кому-то с изложением каких-то «обстоятельств», вследствие чего кто-то потребовал от него каких-то объяснений*. Не знаю, верно ли, но утверждали еще, что в Петербурге было отыскано в то же самое время какое-то громадное, противоестественное и противогосударственное общество, человек в тринадцать, и чуть не потрясшее здание. Говорили, что будто бы они собирались переводить самого Фурье*. Как нарочно, в то же самое время в Москве схвачена была и поэма Степана Трофимовича, написанная им еще лет шесть до сего, в Берлине, в самой первой его молодости, и ходившая по рукам, в списках, между двумя любителями и у одного студента. Эта поэма лежит теперь и у меня в столе; я получил ее, не далее как прошлого года, в собственноручном, весьма недавнем списке, от самого Степана Трофимовича, с его надписью и в великолепном красном сафьянном переплете. Впрочем, она не без поэзии и даже не без некоторого таланта; странная, но тогда (то есть, вернее, в тридцатых годах) в этом роде часто пописывали. Рассказать же сюжет затрудняюсь, ибо, по правде, ничего в нем не понимаю. Это какая-то аллегория, в лирико-драматической форме и напоминающая вторую часть «Фауста». Сцена открывается хором женщин, потом хором мужчин, потом каких-то сил, и в конце всего хором душ, еще не живших, но которым очень бы хотелось пожить. Все эти хоры поют о чем-то очень неопределенном, большею частию о чьем-то проклятии, но с оттенком высшего юмора. Но сцена вдруг переменяется, и наступает какой-то «Праздник жизни», на котором поют даже насекомые, является черепаха с какими-то латинскими сакраментальными словами, и даже, если припомню, пропел о чем-то один минерал, то есть предмет уже вовсе неодушевленный. Вообще же все поют беспрерывно, а если разговаривают, то как-то неопределенно

бранятся, но опять-таки с оттенком высшего значения. Наконец, сцена опять переменяется, и является дикое место, а между утесами бродит один цивилизованный молодой человек, который срывает и сосет какие-то травы, и на вопрос феи: зачем он сосет эти травы? – ответствует, что он, чувствуя в себе избыток жизни, ищет забвения и находит его в соке этих трав; но что главное желание его – поскорее потерять ум (желание, может быть, и излишнее). Затем вдруг въезжает неописанной красоты юноша на черном коне, и за ним следует ужасное множество всех народов. Юноша изображает собою смерть, а все народы ее жаждут. И, наконец, уже в самой последней сцене вдруг появляется Вавилонская башня, и какие-то атлеты ее наконец достраивают с песней новой надежды, и когда уже достраивают до самого верху, то обладатель, положим хоть Олимпа, убегает в комическом виде, и догадавшееся человечество, завладев его местом, тотчас же начинает новую жизнь с новым проникновением вещей. Ну, вот эту-то поэму и нашли тогда опасною. Я в прошлом году предлагал Степану Трофимовичу ее напечатать, за совершенною ее, в наше время, невинностью, но он отклонил предложение с видимым неудовольствием. Мнение о совершенной невинности ему не понравилось, и я даже приписываю тому некоторую холодность его со мной, продолжавшуюся целых два месяца. И что же? Вдруг, и почти тогда же, как я предлагал напечатать здесь, – печатают нашу поэму *там,* то есть за границей, в одном из революционных сборников*, и совершенно без ведома Степана Трофимовича. Он был сначала испуган, бросился к губернатору и написал благороднейшее оправдательное письмо в Петербург, читал мне его два раза, но не отправил, не зная, кому адресовать. Одним словом, волновался целый месяц; но я убежден, что в таинственных изгибах своего сердца был польщен необыкновенно. Он чуть не спал с экземпляром доставленного ему сборника, а днем прятал его под тюфяк и даже не пускал женщину перестилать постель, и хоть ждал каждый день откуда-то какой-то телеграммы, но смотрел свысока. Телеграммы никакой не пришло. Тогда же он и со мной примирился, что и свидетельствует о чрезвычайной доброте его тихого и незлопамятного сердца.

II

Я ведь не утверждаю, что он совсем нисколько не пострадал; я лишь убедился теперь вполне, что он мог бы продолжать о своих аравитянах сколько ему угодно, дав только нужные

объяснения. Но он тогда самоициозничал и с особенною поспешностью распорядился уверить себя раз навсегда, что карьера его разбита на всю его жизнь «вихрем обстоятельств». А если говорить всю правду, то настоящею причиной перемены карьеры было еще прежнее и снова возобновившееся деликатнейшее предложение ему от Варвары Петровны Ставрогиной, супруги генерал-лейтенанта и значительной богачки, принять на себя воспитание и всё умственное развитие ее единственного сына, в качестве высшего педагога и друга, не говоря уже о блистательном вознаграждении. Предложение это было сделано ему в первый раз еще в Берлине, и именно в то самое время, когда он в первый раз овдовел. Первою супругой его была одна легкомысленная девица из нашей губернии, на которой он женился в самой первой и еще безрассудной своей молодости, и, кажется, вынес с этою, привлекательною впрочем, особой много горя, за недостатком средств к ее содержанию и, сверх того, по другим, отчасти уже деликатным причинам. Она скончалась в Париже, быв с ним последние три года в разлуке и оставив ему пятилетнего сына, «плод первой, радостной и еще не омраченной любви», как вырвалось раз при мне у грустившего Степана Трофимовича. Птенца еще с самого начала переслали в Россию, где он и воспитывался всё время на руках каких-то отдаленных теток, где-то в глуши. Степан Трофимович отклонил тогдашнее предложение Варвары Петровны и быстро женился опять, даже раньше году, на одной неразговорчивой берлинской немочке и, главное, без всякой особенной надобности. Но, кроме этой, оказались и другие причины отказа от места воспитателя: его соблазняла гремевшая в то время слава одного незабвенного профессора, и он, в свою очередь, полетел на кафедру, к которой готовился, чтобы испробовать и свои орлиные крылья. И вот теперь, уже с опаленными крыльями, он, естественно, вспомнил о предложении, которое еще и прежде колебало его решение. Внезапная же смерть и второй супруги, не прожившей с ним и году, устроила всё окончательно. Скажу прямо: всё разрешилось пламенным участием и драгоценною, так сказать классическою, дружбой к нему Варвары Петровны, если только так можно о дружбе выразиться. Он бросился в объятия этой дружбы, и дело закрепилось с лишком на двадцать лет. Я употребил выражение «бросился в объятия», но сохрани бог кого-нибудь подумать о чем-нибудь лишнем и праздном; эти объятия надо разуметь в одном лишь самом высоконравственном смысле. Самая тонкая и самая деликатнейшая связь соединила эти два столь замечательные существа навеки.

Место воспитателя было принято еще и потому, что и

именьице, оставшееся после первой супруги Степана Трофимовича, – очень маленькое, – приходилось совершенно рядом со Скворешниками, великолепным подгородным имением Ставрогиных в нашей губернии. К тому же всегда возможно было, в тиши кабинета и уже не отвлекаясь огромностью университетских занятий, посвятить себя делу науки и обогатить отечественную словесность глубочайшими исследованиями. Исследований не оказалось; но зато оказалось возможным простоять всю остальную жизнь, более двадцати лет, так сказать, «воплощенной укоризной» пред отчизной, по выражению народного поэта:

Воплощенной укоризною
Ќ Ќ Ќ Ќ Ќ Ќ Ќ Ќ Ќ Ќ
Ты стоял перед отчизною,
Либерал-идеалист.

Но то лицо, о котором выразился народный поэт*, может быть, и имело право всю жизнь позировать в этом смысле, если бы того захотело, хотя это и скучно. Наш же Степан Трофимович, по правде, был только подражателем сравнительно с подобными лицами, да и стоять уставал и частенько полеживал на боку. Но хотя и на боку, а воплощенность укоризны сохранялась и в лежачем положении*, – надо отдать справедливость, тем более что для губернии было и того достаточно. Посмотрели бы вы на него у нас в клубе, когда он садился за карты. Весь вид его говорил: «Карты! Я сажусь с вами в ералаш! Разве это совместно? Кто ж отвечает за это? Кто разбил мою деятельность и обратил ее в ералаш? Э, погибай Россия!» – и он осанисто козырял с червей.

А по правде, ужасно любил сразиться в карточки, за что, и особенно в последнее время, имел частые и неприятные стычки с Варварой Петровной, тем более что постоянно проигрывал*. Но об этом после. Замечу лишь, что это был человек даже совестливый (то есть иногда), а потому часто грустил. В продолжение всей двадцатилетней дружбы с Варварой Петровной он раза по три и по четыре в год регулярно впадал в так называемую между нами «гражданскую скорбь», то есть просто в хандру, но словечко это нравилось* многоуважаемой Варваре Петровне. Впоследствии, кроме гражданской скорби, он стал впадать и в шампанское; но чуткая Варвара Петровна всю жизнь охраняла его от всех тривиальных наклонностей. Да он и нуждался в няньке, потому что становился иногда очень странен: в средине самой возвышенной скорби он вдруг зачинал смеяться самым простонароднейшим образом. Находили минуты, что даже

о самом себе начинал выражаться в юмористическом смысле. Но ничего так не боялась Варвара Петровна, как юмористического смысла. Это была женщина-классик, женщина-меценатка, действовавшая в видах одних лишь высших соображений. Капитально было двадцатилетнее влияние этой высшей дамы на ее бедного друга. О ней надо бы поговорить особенно, что я и сделаю.

III

Есть дружбы странные: оба друга один другого почти съесть хотят, всю жизнь так живут, а между тем расстаться не могут. Расстаться даже никак нельзя: раскапризившийся и разорвавший связь друг первый же заболеет и, пожалуй, умрет, если это случится. Я положительно знаю, что Степан Трофимович несколько раз, и иногда после самых интимных излияний глаз на глаз с Варварой Петровной, по уходе ее вдруг вскакивал с дивана и начинал колотить кулаками в стену.

Происходило это без малейшей аллегории, так даже, что однажды отбил от стены штукатурку. Может быть, спросят: как мог я узнать такую тонкую подробность? А что, если я сам бывал свидетелем? Что, если сам Степан Трофимович неоднократно рыдал на моем плече, в ярких красках рисуя предо мной всю свою подноготную? (И уж чего-чего при этом не говорил!). Но вот что случалось почти всегда после этих рыданий: назавтра он уже готов был распять самого себя за неблагодарность; поспешно призывал меня к себе или прибегал ко мне сам, единственно чтобы возвестить мне, что Варвара Петровна «ангел чести и деликатности, а он совершенно противоположное». Он не только ко мне прибегал, но неоднократно описывал все это ей самой в красноречивеиших письмах и признавался ей, за своею полною подписью, что не далее как, например, вчера он рассказывал постороннему лицу, что она держит его из тщеславия, завидует его учености и талантам; ненавидит его и боится только выказать свою ненависть явно, в страхе, чтоб он не ушел от нее и тем не повредил ее литературной репутации; что вследствие этого он себя презирает и решился погибнуть насильственною смертью, а от нее ждет последнего слова, которое всё решит, и пр., и пр., всё в этом роде. Можно представить после этого, до какой истерики доходили иногда нервные взрывы этого невиннейшего из всех пятидесятилетних младенцев! Я сам однажды читал одно из таковых его писем, после какой-то между ними ссоры, из-за ничтожной причины, но ядовитой по выполнению. Я ужаснулся и

умолял не посылать письма.

– Нельзя… честнее… долг… я умру, если не признаюсь ей во всем, во всем! – отвечал он чуть не в горячке и послал-таки письмо.

В том-то и была разница между ними, что Варвара Петровна никогда бы не послала такого письма. Правда, он писать любил без памяти, писал к ней, даже живя в одном с нею доме, а в истерических случаях и по два письма в день*. Я знаю наверное, что она всегда внимательнейшим образом эти письма прочитывала, даже в случае и двух писем в день, и, прочитав, складывала в особый ящичек, помеченные и рассортированные; кроме того, слагала их в сердце своем. Затем, выдержав своего друга весь день без ответа, встречалась с ним как ни в чем не бывало, будто ровно ничего вчера особенного не случилось. Мало-помалу она так его вымуштровала, что он уже и сам не смел напоминать о вчерашнем, а только заглядывал ей некоторое время в глаза. Но она ничего не забывала, а он забывал иногда слишком уж скоро и, ободренный ее же спокойствием, нередко в тот же день смеялся и школьничал за шампанским, если приходили приятели. С каким, должно быть, ядом она смотрела на него в те минуты, а он ничего-то не примечал! Разве через неделю, через месяц, или даже через полгода, в какую-нибудь особую минуту, нечаянно вспомнив какое-нибудь выражение из такого письма, а затем и всё письмо, со всеми обстоятельствами, он вдруг сгорал от стыда и до того, бывало, мучился, что заболевал своими припадками холерины. Эти особенные с ним припадки, вроде холерины, бывали в некоторых случаях обыкновенным исходом его нервных потрясений и представляли собою некоторый любопытный в своем роде курьез в его телосложении.

Действительно, Варвара Петровна наверно и весьма часто его ненавидела; но он одного только в ней не приметил до самого конца, того, что стал наконец для нее ее сыном, ее созданием, даже, можно сказать, ее изобретением, стал плотью от плоти ее, и что она держит и содержит его вовсе не из одной только «зависти к его талантам». И как, должно быть, она была оскорбляема такими предположениями! В ней таилась какая-то нестерпимая любовь к нему, среди беспрерывной ненависти, ревности и презрения. Она охраняла его от каждой пылинки, нянчилась с ним двадцать два года, не спала бы целых ночей от заботы, если бы дело коснулось до его репутации поэта, ученого, гражданского деятеля. Она его выдумала и в свою выдумку сама же первая и уверовала. Он был нечто вроде какой-то ее мечты… Но она требовала от него за это действительно многого, иногда даже

рабства. Злопамятна же была до невероятности. Кстати уж расскажу два анекдота.

IV

Однажды, еще при первых слухах об освобождении крестьян*, когда вся Россия вдруг взликовала и готовилась вся возродиться, посетил Варвару Петровну один проезжий петербургский барон*, человек с самыми высокими связями и стоявший весьма близко у дела. Варвара Петровна чрезвычайно ценила подобные посещения, потому что связи ее в обществе высшем, по смерти ее супруга, всё более и более ослабевали, под конец и совсем прекратились. Барон просидел у нее час и кушал чай. Никого других не было, но Степана Трофимовича Варвара Петровна пригласила и выставила. Барон о нем кое-что даже слышал и прежде или сделал вид, что слышал, но за чаем мало к нему обращался. Разумеется, Степан Трофимович в грязь себя ударить не мог, да и манеры его были самые изящные. Хотя происхождения он был, кажется, невысокого, но случилось так, что воспитан был с самого малолетства в одном знатном доме в Москве* и, стало быть, прилично; по-французски говорил, как парижанин. Таким образом, барон с первого взгляда должен был понять, какими людьми Варвара Петровна окружает себя, хотя бы и в губернском уединении. Вышло, однако, не так. Когда барон подтвердил положительно совершенную достоверность только что разнесшихся тогда первых слухов о великой реформе, Степан Трофимович вдруг не вытерпел и крикнул *ура!* и даже сделал рукой какой-то жест, изображавший восторг. Крикнул он негромко и даже изящно; даже, может быть, восторг был преднамеренный, а жест нарочно заучен пред зеркалом, за полчаса пред чаем; но, должно быть, у него что-нибудь тут не вышло, так что барон позволил себе чуть-чуть улыбнуться, хотя тотчас же необыкновенно вежливо ввернул фразу о всеобщем и надлежащем умилении всех русских сердец ввиду великого события. Затем скоро уехал и, уезжая, не забыл протянуть и Степану Трофимовичу два пальца. Возвратясь в гостиную, Варвара Петровна сначала молчала минуты три, что-то как бы отыскивая на столе; но вдруг обернулась к Степану Трофимовичу и, бледная, со сверкающими глазами, процедила шепотом:

– Я вам этого никогда не забуду!

На другой день она встретилась со своим другом как ни в чем не бывало; о случившемся никогда не поминала. Но тринадцать лет спустя, в одну трагическую минуту, припомнила и

попрекнула его, и так же точно побледнела, как и тринадцать лет назад, когда в первый раз попрекала. Только два раза во всю свою жизнь сказала она ему: «Я вам этого никогда не забуду!». Случай с бароном был уже второй случай; но и первый случай в свою очередь так характерен и, кажется, так много означал в судьбе Степана Трофимовича, что я решаюсь и о нем упомянуть.

Это было в пятьдесят пятом году, весной, в мае месяце, именно после того как в Скворешниках получилось известие о кончине генерал-лейтенанта Ставрогина, старца легкомысленного, скончавшегося от расстройства в желудке, по дороге в Крым, куда он спешил по назначению в действующую армию. Варвара Петровна осталась вдовой и облеклась в полный траур. Правда, не могла она горевать очень много, ибо в последние четыре года жила с мужем в совершенной разлуке, по несходству характеров, и производила ему пенсион. (У самого генерал-лейтенанта было всего только полтораста душ и жалованье, кроме того знатность и связи; а всё богатство и Скворешники принадлежали Варваре Петровне, единственной дочери одного очень богатого откупщика). Тем не менее она была потрясена неожиданностию известия и удалилась в полное уединение. Разумеется, Степан Трофимович находился при ней безотлучно.

Май был в полном расцвете; вечера стояли удивительные. Зацвела черемуха. Оба друга сходились каждый вечер в саду и просиживали до ночи в беседке, изливая друг пред другом свои чувства и мысли. Минуты бывали поэтические. Варвара Петровна под впечатлением перемены в судьбе своей говорила больше обыкновенного. Она как бы льнула к сердцу своего друга, и так продолжалось несколько вечеров. Одна странная мысль вдруг осенила Степана Трофимовича: «Не рассчитывает ли неутешная вдова на него и не ждет ли, в конце траурного года, предложения с его стороны?». Мысль циническая; но ведь возвышенность организации даже иногда способствует наклонности к циническим мыслям, уже по одной только многосторонности развития. Он стал вникать и нашел, что походило на то. Он задумался: «Состояние огромное, правда, но…». Действительно, Варвара Петровна не совсем походила на красавицу: это была высокая, желтая, костлявая женщина, с чрезмерно длинным лицом, напоминавшим что-то лошадиное. Всё более и более колебался Степан Трофимович, мучился сомнениями, даже всплакнул раза два от нерешимости (плакал он довольно часто). По вечерам же, то есть в беседке, лицо его как-то невольно стало выражать нечто капризное и насмешливое, нечто кокетливое и в то же время высокомерное. Это как-то нечаянно, невольно

делается, и даже чем благороднее человек, тем оно и заметнее. Бог знает как тут судить, но вероятнее, что ничего и не начиналось в сердце Варвары Петровны такого, что могло бы оправдать вполне подозрения Степана Трофимовича. Да и не променяла бы она своего имени Ставрогиной на его имя, хотя бы и столь славное. Может быть, была всего только одна лишь женственная игра с ее стороны, проявление бессознательной женской потребности, столь натуральной в иных чрезвычайных женских случаях. Впрочем, не поручусь; неисследима глубина женского сердца даже и до сегодня! Но продолжаю.

Надо думать, что она скоро про себя разгадала странное выражение лица своего друга; она была чутка и приглядчива, он же слишком иногда невинен. Но вечера шли по-прежнему, и разговоры были так же поэтичны и интересны. И вот однажды, с наступлением ночи, после самого оживленного и поэтического разговора, они дружески расстались, горячо пожав друг другу руки у крыльца флигеля, в котором квартировал Степан Трофимович. Каждое лето он перебирался в этот флигелек, стоявший почти в саду, из огромного барского дома Скворешников. Только что он вошел к себе и, в хлопотливом раздумье, взяв сигару и еще не успев ее закурить, остановился, усталый, неподвижно пред раскрытым окном, приглядываясь к легким, как пух, белым облачкам, скользившим вокруг ясного месяца, как вдруг легкий шорох заставил его вздрогнуть и обернуться. Пред ним опять стояла Варвара Петровна, которую он оставил всего только четыре минуты назад. Желтое лицо ее почти посинело, губы были сжаты и вздрагивали по краям. Секунд десять полных смотрела она ему в глаза молча, твердым, неумолимым взглядом и вдруг прошептала скороговоркой:

– Я никогда вам этого не забуду!

Когда Степан Трофимович, уже десять лет спустя, передавал мне эту грустную повесть шепотом, заперев сначала двери, то клялся мне, что он до того остолбенел тогда на месте, что не слышал и не видел, как Варвара Петровна исчезла. Так как она никогда ни разу потом не намекала ему на происшедшее и всё пошло как ни в чем, не бывало, то он всю жизнь наклонен был к мысли, что всё это была одна галлюцинация пред болезнию, тем более что в ту же ночь он и вправду заболел на целых две недели, что, кстати, прекратило и свидания в беседке.

Но, несмотря на мечту о галлюцинации, он каждый день, всю свою жизнь, как бы ждал продолжения и, так сказать, развязки этого события. Он не верил, что оно так и кончилось! А если так, то странно же он должен был иногда поглядывать на своего друга.

V

Она сама сочинила ему даже костюм, в котором он и проходил всю свою жизнь. Костюм был изящен и характерен: длиннополый черный сюртук, почти доверху застегнутый, но щегольски сидевший; мягкая шляпа (летом соломенная) с широкими полями; галстук белый, батистовый, с большим узлом и висячими концами; трость с серебряным набалдашником, при этом волосы до плеч. Он был темно-рус, и волосы его только в последнее время начали немного седеть. Усы и бороду он брил. Говорят, в молодости он был чрезвычайно красив собой. Но, по-моему, и в старости был необыкновенно внушителен. Да и какая же старость в пятьдесят три года? Но, по некоторому гражданскому кокетству, он не только не молодился, но как бы и щеголял солидностию лет своих, и в костюме своем, высокий, сухощавый, с волосами до плеч, походил как бы на патриарха или, еще вернее, на портрет поэта Кукольника, литографированный в тридцатых годах при каком-то издании*, особенно когда сидел летом в саду, на лавке, под кустом расцветшей сирени, опершись обеими руками на трость, с раскрытою книгой подле и поэтически задумавшись над закатом солнца. Насчет книг замечу, что под конец он стал как-то удаляться от чтения. Впрочем, это уж под самый конец. Газеты и журналы, выписываемые Варварой Петровной во множестве, он читал постоянно. Успехами русской литературы тоже постоянно интересовался, хотя и нисколько не теряя своего достоинства. Увлекся было когда-то изучением высшей современной политики наших внутренних и внешних дел, но вскоре, махнув рукой, оставил предприятие. Бывало и то: возьмет с собою в сад Токевиля, а в кармашке несет спрятанного Поль де Кока.* Но, впрочем, это пустяки.

Замечу в скобках и о портрете Кукольника: попалась эта картинка Варваре Петровне в первый раз, когда она находилась, еще девочкой, в благородном пансионе в Москве. Она тотчас же влюбилась в портрет, по обыкновению всех девочек в пансионах, влюбляющихся во что ни попало, а вместе и в своих учителей, преимущественно чистописания и рисования. Но любопытны в этом не свойства девочки, а то, что даже и в пятьдесят лет Варвара Петровна сохраняла эту картинку в числе самых интимных своих драгоценностей, так что и Степану Трофимовичу, может быть, только поэтому сочинила несколько похожий на изображенный на картинке костюм. Но и это, конечно, мелочь.

В первые годы, или, точнее, в первую половину пребывания у

Варвары Петровны, Степан Трофимович всё еще помышлял о каком-то сочинении и каждый день серьезно собирался его писать. Но во вторую половину он, должно быть, и зады позабыл. Всё чаще и чаще он говаривал нам: «Кажется, готов к труду, материалы собраны, и вот не работается! Ничего не делается!» – и опускал голову в унынии. Без сомнения, это-то и должно было придать ему еще больше величия в наших глазах, как страдальцу науки*; но самому ему хотелось чего-то другого. «Забыли меня, никому я не нужен!» – вырывалось у него не раз. Эта усиленная хандра особенно овладела им в самом конце пятидесятых годов. Варвара Петровна поняла наконец, что дело серьезное. Да и не могла она перенести мысли о том, что друг ее забыт и не нужен. Чтобы развлечь его, а вместе для подновления славы, она свозила его тогда в Москву, где у ней было несколько изящных литературных и ученых знакомств; но оказалось, что и Москва неудовлетворительна.

Тогда было время особенное; наступило что-то новое, очень уж непохожее на прежнюю тишину, и что-то очень уж странное, но везде ощущаемое, даже в Скворешниках. Доходили разные слухи. Факты были вообще известны более или менее, но очевидно было, что кроме фактов явились и какие-то сопровождавшие их идеи, и, главное, в чрезмерном количестве*. А это-то и смущало: никак невозможно было примениться и в точности узнать, что именно означали эти идеи? Варвара Петровна, вследствие женского устройства натуры своей, непременно хотела подразумевать в них секрет. Она принялась было сама читать газеты и журналы, заграничные запрещенные издания и даже начавшиеся тогда прокламации* (всё это ей доставлялось); но у ней только голова закружилась. Принялась она писать письма: отвечали ей мало, и чем далее, тем непонятнее. Степан Трофимович торжественно приглашен был объяснить ей «все эти идеи» раз навсегда; но объяснениями его она осталась положительно недовольна. Взгляд Степана Трофимовича на всеобщее движение был в высшей степени высокомерный; у него всё сводилось на то, что он сам забыт и никому не нужен. Наконец и о нем вспомянули, сначала в заграничных изданиях, как о ссыльном страдальце, и потом тотчас же в Петербурге, как о бывшей звезде в известном созвездии; даже сравнивали его почему-то с Радищевым. Затем кто-то напечатал, что он уже умер, и обещал его некролог*. Степан Трофимович мигом воскрес и сильно приосанился. Всё высокомерие его взгляда на современников разом соскочило, и в нем загорелась мечта: примкнуть к движению и показать свои силы. Варвара Петровна тотчас же вновь и во всё уверовала и

ужасно засуетилась. Решено было ехать в Петербург без малейшего отлагательства, разузнать всё на деле, вникнуть лично и, если возможно, войти в новую деятельность всецело и нераздельно. Между прочим, она объявила, что готова основать свой журнал и посвятить ему отныне всю свою жизнь. Увидав, что дошло даже до этого, Степан Трофимович стал еще высокомернее, в дороге же начал относиться к Варваре Петровне почти покровительственно, что она тотчас же сложила в сердце своем. Впрочем, у ней была и другая весьма важная причина к поездке, именно возобновление высших связей. Надо было по возможности напомнить о себе в свете, по крайней мере попытаться. Гласным же предлогом к путешествию было свидание с единственным сыном, оканчивавшим тогда курс наук в петербургском лицее.

Глава восьмая. Заключение

Все совершившиеся бесчинства и преступления обнаружились с чрезвычайною быстротой, гораздо быстрее, чем предполагал Петр Степанович. Началось с того, что несчастная Марья Игнатьевна в ночь убийства мужа проснулась пред рассветом, хватилась его и пришла в неописанное волнение, не видя его подле себя. С ней ночевала нанятая тогда Ариной Прохоровной прислужница. Та никак не могла ее успокоить и, чуть лишь стало светать, побежала за самой Ариной Прохоровной, уверив больную, что та знает, где ее муж и когда он воротится. Между тем и Арина Прохоровна находилась тоже в некоторой заботе: она уже узнала от своего мужа о ночном подвиге в Скворешниках. Он воротился домой часу уже в одиннадцатом ночи, в ужасном состоянии и виде; ломая руки, бросился ничком на кровать и всё повторял, сотрясаясь от конвульсивных рыданий: «Это не то, не то; это совсем не то!». Разумеется, кончил тем, что признался приступившей к нему Арине Прохоровне во всем – впрочем, только ей одной во всем доме. Та оставила его в постели, строго внушив, что «если хочет хныкать, то ревел бы в подушку, чтоб не слыхали, и что дурак он будет, если завтра покажет какой-нибудь вид». Она-таки призадумалась и тотчас же начала прибираться на всякий случай: лишние бумаги, книги, даже, может быть, прокламации, успела припрятать или истребить дотла. За всем тем рассудила, что собственно ей, ее сестре, тетке, студентке, а может быть, и вислоухому братцу бояться очень-то нечего. Когда к утру прибежала за ней сиделка, она пошла к Марье Игнатьевне не задумавшись, Ей, впрочем, ужасно хотелось поскорее

проведать, верно ли то, что вчера испуганным и безумным шепотом, похожим на бред, сообщил ей супруг о расчетах Петра Степановича, в видах общей пользы, на Кириллова.

Но пришла она к Марье Игнатьевне уже поздно: отправив служанку и оставшись одна, та не вытерпела, встала с постели и, накинув на себя что попало под руку из одежи, кажется очень что-то легкое и к сезону не подходящее, отправилась сама во флигель к Кириллову, соображая, что, может быть, он ей вернее всех сообщит о муже. Можно представить, как подействовало на родильницу то, что она там увидела. Замечательно, что она не прочла предсмертной записки Кириллова, лежавшей на столе, на виду, конечно в испуге проглядев ее вовсе. Она вбежала в свою светелку, схватила младенца и пошла с ним из дома по улице. Утро было сырое, стоял туман. Прохожих в такой глухой улице не встретилось. Она всё бежала, задыхаясь, по холодной и топкой грязи и наконец начала стучаться в дома; в одном доме не отперли, в другом долго не отпирали; она бросила в нетерпении и начала стучаться в третий дом. Это был дом нашего купца Титова. Здесь она наделала большой суматохи, вопила и бессвязно уверяла, что «ее мужа убили». Шатова и отчасти его историю у Титовых несколько знали; поражены были ужасом, что она, по ее словам всего только сутки родивши, бегает в такой одеже и в такой холод по улицам, с едва прикрытым младенцем в руках. Подумали было сначала, что только в бреду, тем более что никак не могли выяснить, кто убит: Кириллов или ее муж? Она, смекнув, что ей не верят, бросилась было бежать дальше, но ее остановили силой, и, говорят, она страшно кричала и билась. Отправились в дом Филиппова, и через два часа самоубийство Кириллов и его предсмертная записка стали известны всему городу. Полиция приступила к родильнице, бывшей еще в памяти; тут-то и оказалось, что она записки Кириллова не читала, а почему именно заключила, что и муж ее убит, – от нее не могли добиться. Она только кричала, что «коли тот убит, так и муж убит; они вместе были!». К полудню она впала в беспамятство, из которого уж и не выходила, И скончалась дня через три. Простуженный ребенок помер еще раньше ее. Арина Прохоровна, не найдя на месте Марьи Игнатьевны и младенца и смекнув, что худо, хотела было бежать домой, но остановилась у ворот и послала сиделку «спросить во флигеле, у господина, не у них ли Марья Игнатьевна и не знает ли он чего о ней?». Посланница воротилась, неистово крича на всю улицу. Убедив ее не кричать и никому не объявлять знаменитым аргументом: «засудят», она улизнула со двора.

Само собою, что ее в то же утро обеспокоили, как бывшую

повитуху родильницы; но немногого добились: она очень дельно и хладнокровно рассказала всё, что сама видела и слышала у Шатова, но о случившейся истории отозвалась, что ничего в ней не знает и не понимает.

Можно себе представить, какая по городу поднялась суматоха. Новая «история», опять убийство! Но тут уже было другое: становилось ясно, что есть, действительно есть тайное общество убийц, поджигателей-революционеров, бунтовщиков. Ужасная смерть Лизы, убийство жены Ставрогина, сам Ставрогин, поджог, бал для гувернанток, распущенность вокруг Юлии Михайловны… Даже в исчезновении Степана Трофимовича хотели непременно видеть загадку. Очень, очень шептались про Николая Всеволодовича. К концу дня узнали и об отсутствии Петра Степановича и, странно, о нем менее всего говорили. Но более всего в тот день говорили «о сенаторе». У дома Филиппова почти всё утро стояла толпа. Действительно, начальство было введено в заблуждение запиской Кириллова. Поверили и в убийство Кирилловым Шатова и в самоубийство «убийцы». Впрочем, начальство хоть и потерялось, но не совсем. Слово «парк», например, столь неопределенно помещенное в записке Кириллова, не сбило никого с толку, как рассчитывал Петр Степанович. Полиция тотчас же кинулась в Скворешники, и не по тому одному, что там был парк, которого нигде у нас в другом месте не было, а и по некоторому даже инстинкту, так как все ужасы последних дней или прямо, или отчасти связаны были со Скворешниками. Так по крайней мере я догадываюсь. (Замечу, что Варвара Петровна, рано утром и не зная ни о чем, выехала для поимки Степана Трофимовича). Тело отыскали в пруде в тот же день к вечеру, по некоторым следам; на самом месте убийства найден был картуз Шатова*, с чрезвычайным легкомыслием позабытый убийцами. Наглядное и медицинское исследование трупа и некоторые догадки с первого шагу возбудили подозрение, что Кириллов не мог не иметь товарищей. Выяснилось существование шатово-кирилловского тайного общества, связанного с прокламациями. Кто же были эти товарищи? О *наших* ни об одном в тот день и мысли еще не было. Узнали, что Кириллов жил затворником и до того уединенно, что с ним вместе, как объявлялось в записке, мог квартировать столько дней Федька, которого везде так искали… Главное, томило всех то, что из всей представлявшейся путаницы ничего нельзя было извлечь общего и связующего. Трудно представить, до каких заключений и до какого безначалия мысли дошло бы наконец наше перепуганное до паники общество, если бы вдруг не объяснилось всё разом, на другой же день, благодаря Лямшину.

Он не вынес. С ним случилось то, что даже и Петр Степанович под конец стал предчувствовать. Порученный Толкаченке, а потом Эркелю, он весь следующий день пролежал в постели, по-видимому смирно, отвернувшись к стене и не говоря ни слова, почти не отвечая, если с ним заговаривали. Он ничего, таким образом, не узнал во весь день из происходившего в городе. Но Толкаченке, отлично узнавшему происшедшее, вздумалось к вечеру бросить возложенную на него Петром Степановичем роль при Лямшине и отлучиться из города в уезд, то есть попросту убежать: подлинно, что потеряли рассудок, как напророчил о них о всех Эркель. Замечу кстати, что и Липутин в тот же день исчез из города, еще прежде полудня. Но с этим как-то так произошло, что об исчезновении его узналось начальством лишь только на другой день к вечеру, когда прямо приступили с расспросами к перепуганному его отсутствием, но молчавшему от страха его семейству. Но продолжаю о Лямшине. Лишь только он остался один (Эркель, надеясь на Толкаченку, еще прежде ушел к себе), как тотчас же выбежал из дому и, разумеется, очень скоро узнал о положении дел. Не заходя даже домой, он бросился тоже бежать куда глаза глядят. Но ночь была так темна, а предприятие до того страшное и многотрудное, что, пройдя две-три улицы, он воротился домой и заперся на всю ночь. Кажется, к утру он сделал попытку к самоубийству; но у него не вышло. Просидел он, однако, взаперти почти до полудня и – вдруг побежал к начальству. Говорят, он ползал на коленях, рыдал и визжал, целовал пол, крича, что недостоин целовать даже сапогов стоявших пред ним сановников. Его успокоили и даже обласкали. Допрос тянулся, говорят, часа три. Он объявил всё, всё, рассказал всю подноготную, всё, что знал, все подробности; забегал вперед, спешил признаниями, передавал даже ненужное и без спросу. Оказалось, что он знал довольно и довольно хорошо поставил на вид дело: трагедия с Шатовым и Кирилловым, пожар, смерть Лебядкиных и пр. поступили на план второстепенный. На первый план выступали Петр Степанович, тайное общество, организация, сеть. На вопрос: для чего сделано столько убийств, скандалов и мерзостей? – он с горячею торопливостью ответил, что «для систематического потрясения основ, для систематического разложения общества и всех начал; для того, чтобы всех обескуражить и изо всего сделать кашу и расшатавшееся таким образом общество, болезненное и раскисшее, циническое и неверующее, но с бесконечною жаждой какой-нибудь руководящей мысли и самосохранения, – вдруг взять в свои руки, подняв знамя бунта и опираясь на целую сеть пятерок, тем временем действовавших, вербовавших и изыскивавших

практически все приемы и все слабые места, за которые можно ухватиться». Заключил он, что здесь, в нашем городе, устроена была Петром Степановичем лишь первая проба такого систематического беспорядка, так сказать программа дальнейших действий, и даже для всех пятерок, – и что это уже собственно его (Лямшина) мысль, его догадка и «чтобы непременно попомнили и чтобы всё это поставили на вид, до какой степени он откровенно и благонравно разъясняет дело и, стало быть, очень может пригодиться даже и впредь для услуг начальства». На положительный вопрос: много ли пятерок? – отвечал, что бесконечное множество, что вся Россия покрыта сетью, и хотя не представил доказательств, но, думаю, отвечал совершенно искренно. Представил только печатную программу общества, заграничной печати, и проект развития системы дальнейших действий, написанный хотя и начерно, но собственною рукой Петра Степановича. Оказалось, что о «потрясении основ» Лямшин буквально цитовал по этой бумажке, не забыв даже точек и запятых, хотя и уверял, что это его только собственное соображение. Про Юлию Михайловну он удивительно смешно и даже без спросу, а забегая вперед, выразился, что «она невинна и что ее только одурачили». Но замечательно, что Николая Ставрогина он совершенно выгородил из всякого участия в тайном обществе, из всякого соглашения с Петром Степановичем. (О заветных и весьма смешных надеждах Петра Степановича на Ставрогина Лямшин не имел никакого понятия). Смерть Лебядкиных, по словам его, была устроена лишь одним Петром Степановичем, без всякого участия Николая Всеволодовича, с хитрою целью втянуть того в преступление и, стало быть, в зависимость от Петра Степановича; но вместо благодарности, на которую несомненно и легкомысленно рассчитывал, Петр Степанович возбудил лишь полное негодование и даже отчаяние в «благородном» Николае Всеволодовиче. Закончил он о Ставрогине, тоже спеша и без спросу, видимо нарочным намеком, что тот чуть ли не чрезвычайно важная птица, но что в этом какой-то секрет; что проживал он у нас, так сказать, incognito, что он с поручениями и что очень возможно, что и опять пожалует к нам из Петербурга (Лямшин уверен был, что Ставрогин в Петербурге), но только уже совершенно в другом виде и в другой обстановке и в свите таких лиц, о которых, может быть, скоро и у нас услышат, и что всё это он слышал от Петра Степановича, «тайного врага Николая Всеволодовича».

Сделаю нотабене. Два месяца спустя Лямшин сознался, что выгораживал тогда Ставрогина нарочно, надеясь на протекцию Ставрогина и на то, что тот в Петербурге выхлопочет ему

облегчение двумя степенями, а в ссылку снабдит деньгами и рекомендательными письмами. Из этого признания видно, что он имел действительно чрезмерно преувеличенное понятие о Николае Ставрогине.

В тот же день, разумеется, арестовали и Виргинского, а сгоряча и весь дом. (Арина Прохоровна, ее сестра, тетка и даже студентка теперь давно уже на воле; говорят даже, что и Шигалев будто бы непременно будет выпущен в самом скором времени, так как ни под одну категорию обвиняемых не подходит; впрочем, это все еще только разговор). Виргинский сразу и во всем повинился: он лежал больной и был в жару, когда его арестовали. Говорят, он почти обрадовался: «С сердца свалилось», – проговорил он будто бы. Слышно про него, что он дает теперь показания откровенно, но с некоторым даже достоинством и не отступает ни от одной из «светлых надежд» своих, проклиная в то же время политический путь (в противоположность социальному), на который был увлечен так нечаянно и легкомысленно «вихрем сошедшихся обстоятельств». Поведение его при совершении убийства разъясняется в смягчающем для него смысле, кажется и он тоже может рассчитывать на некоторое смягчение своей участи. Так по крайней мере у нас утверждают.

Но вряд ли возможно будет облегчить судьбу Эркеля. Этот с самого ареста своего всё молчит или по возможности извращает правду. Ни одного слова раскаяния до сих пор от него не добились. А между тем он даже в самых строгих судьях возбудил к себе некоторую симпатию – своею молодостью, своею беззащитностью, явным свидетельством, что он только фанатическая жертва политического обольстителя; а более всего обнаружившимся поведением его с матерью, которой он отсылал чуть не половину своего незначительного жалованья. Мать его теперь у нас; это слабая и больная женщина, старушка не по летам; она плачет и буквально валяется в ногах, выпрашивая за сына. Что-то будет, но Эркеля у нас многие жалеют.

Липутина арестовали уже в Петербурге, где он прожил целых две недели. С ним случилось почти невероятное дело, которое даже трудно и объяснить. Говорят, он имел и паспорт на чужое имя, и полную возможность успеть улизнуть за границу, и весьма значительные деньги с собой, а между тем остался в Петербурге и никуда не поехал. Некоторое время он разыскивал Ставрогина и Петра Степановича и вдруг запил и стал развратничать безо всякой меры, как человек, совершенно потерявший всякий здравый смысл и понятие о своем положении. Его и арестовали в Петербурге где-то в доме терпимости и нетрезвого. Носится слух, что теперь он вовсе не теряет духа, в показаниях своих лжет и

готовится к предстоящему суду с некоторою торжественностью и надеждою (?). Он намерен даже поговорить на суде. Толкаченко, арестованный где-то в уезде, дней десять спустя после своего бегства, ведет себя несравненно учтивее, не лжет, не виляет, говорит всё, что знает, себя не оправдывает, винится со всею скромностию, но тоже наклонен по-краснобайничать; много и с охотою говорит, а когда дело дойдет до знания народа и революционных (?) его элементов, то даже позирует и жаждет эффекта. Он тоже, слышно, намерен поговорить на суде. Вообще он и Липутин не очень испуганы, и это даже странно.

Повторяю, дело это еще не кончено. Теперь, три месяца спустя, общество наше отдохнуло, оправилось, отгулялось, имеет собственное мнение и до того, что даже самого Петра Степановича иные считают чуть не за гения, по крайней мере «с гениальными способностями». «Организация-с!» – говорят в клубе, подымая палец кверху. Впрочем, всё это очень невинно, да и немногие говорят-то. Другие, напротив, не отрицают в нем остроты способностей, но при совершенном незнании действительности, при страшной отвлеченности, при уродливом и тупом развитии в одну сторону, с чрезвычайным происходящим от того легкомыслием. Относительно нравственных его сторон все соглашаются; тут уж никто не спорит.

Право, не знаю, о ком бы еще упомянуть, чтобы не забыть кого. Маврикий Николаевич куда-то совсем уехал. Старуха Дроздова впала в детство… Впрочем, остается рассказать еще одну очень мрачную историю. Ограничусь лишь фактами.

Варвара Петровна по приезде остановилась в городском своем доме. Разом хлынули на нее все накопившиеся известия и потрясли ее ужасно. Она затворилась у себя одна. Был вечер; все устали и рано легли спать.

Поутру горничная передала Дарье Павловне, с таинственным видом, письмо. Это письмо, по ее словам, пришло еще вчера, но поздно, когда все уже почивали, так что она не посмела разбудить. Пришло не по почте, а в Скворешники через неизвестного человека к Алексею Егорычу. А Алексей Егорыч тотчас сам и доставил, вчера вечером, ей в руки, и тотчас же опять уехал в Скворешники.

Дарья Павловна с биением сердца долго смотрела на письмо и не смела распечатать. Она знала от кого: писал Николай Ставрогин. Она прочла надпись на конверте: «Алексею Егорычу с передачею Дарье Павловне, секретно».

Вот это письмо, слово в слово, без исправления малейшей ошибки в слоге русского барича, не совсем доучившегося русской грамоте, несмотря на всю европейскую свою образованность:

«Милая Дарья Павловна,

Вы когда-то захотели ко мне «в сиделки» и взяли обещание прислать за вами, когда будет надо. Я еду через два дня и не ворочусь. Хотите со мной?

Прошлого года я, как Герцен, записался в граждане кантона Ури*, и этого никто не знает. Там я уже купил маленький дом. У меня еще есть двенадцать тысяч рублей; мы поедем и будем там жить вечно. Я не хочу никогда никуда выезжать.

Место очень скучно, ущелье; горы теснят зрение и мысль. Очень мрачное. Я потому, что продавался маленький дом. Если вам не понравится, я продам и куплю другой в другом месте.

Я нездоров, но от галюсинаций надеюсь избавиться с тамошним воздухом. Это физически; а нравственно вы всё знаете; только всё ли?

Я вам рассказал многое из моей жизни. Но не всё. Даже вам не всё! Кстати, подтверждаю, что совестью я виноват в смерти жены. Я с вами не виделся после того, а потому подтверждаю. Виноват и пред Лизаветой Николаевной; но тут вы знаете; тут вы всё почти предсказали.

Лучше не приезжайте. То, что я зову вас к себе, есть ужасная низость. Да и зачем вам хоронить со мной вашу жизнь? Мне вы милы, и мне, в тоске, было хорошо подле вас: при вас при одной я мог вслух говорить о себе. Из этого ничего не следует. Вы определили сами «в сиделки» – это ваше выражение; к чему столько жертвовать? Вникните тоже, что я вас не жалею, коли, зову, и не уважаю, коли жду. А между тем и зову и жду. Во всяком случае, в вашем ответе нуждаюсь, потому что надо ехать очень скоро. В таком случае уеду один.

Я ничего от Ури не надеюсь; я просто еду. Я не выбирал нарочно угрюмого места. В России я ничем не связан – в ней мне всё так же чужое, как и везде. Правда, я в ней более, чем в другом месте, не любил жить; но даже и в ней ничего не мог возненавидеть!

Я пробовал везде мою силу. Вы мне советовали это, «чтоб узнать себя». На пробах для себя и для показу, как и прежде во всю мою жизнь, она оказывалась беспредельною. На ваших глазах я снес пощечину от вашего брата; я признался в браке публично. Но к чему приложить эту силу – вот чего никогда не видел, не вижу и теперь, несмотря на ваши ободрения в Швейцарии, которым поверил. Я всё так же, как и всегда прежде, могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от того удовольствие; рядом желаю и злого и тоже чувствую удовольствие. Но и то и другое чувство по-прежнему всегда слишком мелко, а очень никогда не бывает. Мои желания слишком несильны; руководить

не могут. На бревне можно переплыть реку, а на щепке нет. Это чтобы не подумали вы, что я еду в Ури с какими-нибудь надеждами.

Я по-прежнему никого не виню. Я пробовал большой разврат и истощил в нем силы; но я не люблю и не хотел разврата. Вы за мной в последнее время следили. Знаете ли, что я смотрел даже на отрицающих наших со злобой, от зависти к их надеждам? Но вы напрасно боялись: я не мог быть тут товарищем, ибо не разделял ничего. А для смеху, со злобы, тоже не мог, и не потому, чтобы боялся смешного, – я смешного не могу испугаться, – а потому, что все-таки имею привычки порядочного человека и мне мерзило. Но если б имел к ним злобы и зависти больше, то, может, и пошел бы с ними. Судите, до какой степени мне было легко и сколько я метался!

Друг милый, создание нежное и великодушное, которое я угадал! Может быть, вы мечтаете дать мне столько любви и излить на меня столько прекрасного из прекрасной души вашей, что надеетесь тем самым поставить предо мной наконец и цель? Нет, лучше вам быть осторожнее: любовь моя будет так же мелка, как и я сам, а вы несчастны. Ваш брат говорил мне, что тот, кто теряет связи с своею землей, тот теряет и богов своих, то есть все свои цели. Обо всем можно спорить бесконечно, но из меня вылилось одно отрицание, без всякого великодушия и безо всякой силы. Даже отрицания не вылилось. Всё всегда мелко и вяло. Великодушный Кириллов не вынес идеи и – застрелился, но ведь я вижу, что он был великодушен потому, что не в здравом рассудке. Я никогда не могу потерять рассудок и никогда не могу поверить идее в той степени, как он. Я даже заняться идеей в той степени не могу. Никогда, никогда я не могу застрелиться!

Я знаю, что мне надо бы убить себя, смести себя с земли как подлое насекомое; но я боюсь самоубийства, ибо боюсь показать великодушие. Я знаю, что это будет еще обман, – последний обман в бесконечном ряду обманов. Что же пользы себя обмануть, чтобы только сыграть в великодушие? Негодования и стыда во мне никогда быть не может; стало быть, и отчаяния.

Простите, что так много пишу. Я опомнился, и это нечаянно. Этак ста страниц мало и десяти строк довольно. Довольно и десяти строк призыва «в сиделки».

Я, с тех пор как выехал, живу на шестой станции у смотрителя С ним я сошелся во время кутежа пять лет назад в Петербурге. Что там я живу, никто не знает. Напишите на его имя. Прилагаю адрес.

Николай Ставрогин».

Дарья Павловна тотчас же пошла и показала письмо Варваре

Петровне. Та прочитала и попросила Дашу выйти, чтоб еще одной прочитать; но что-то очень скоро опять позвала ее.

– Поедешь? – спросила она почти робко.

– Поеду, – ответила Даша.

– Собирайся! Едем вместе!

Даша посмотрела вопросительно.

А что мне теперь здесь делать? Не всё ли равно? Я тоже в Ури запишусь и проживу в ущелье… Не беспокойся, не помешаю.

Начали быстро собираться, чтобы поспеть к полуденному поезду. Но не прошло получаса, как явился из Скворешников Алексей Егорыч. Он доложил, что Николай Всеволодович «вдруг» приехали поутру, с ранним поездом, и находятся в Скворешниках, но «в таком виде, что на вопросы не отвечают, прошли по всем комнатам и заперлись на своей половине…».

– Я помимо их приказания заключил приехать и доложить, – прибавил Алексей Егорыч с очень внуши тельным видом.

Варвара Петровна пронзительно поглядела на него и не стала расспрашивать. Мигом подали карету. Поехала с Дашей. Пока ехали, часто, говорят, крестилась.

На «своей половине» все двери были отперты, и нигде Николая Всеволодовича не оказалось.

– Уж не в мезонине ли-с? – осторожно произнес Фомушка.

Замечательно, что следом за Варварой Петровной на «свою половину» вошло несколько слуг; а остальные слуги все ждали в зале. Никогда бы они не посмели прежде позволить себе такого нарушения этикета. Варвара Петровна видела и молчала.

Взобрались и в мезонин. Там было три комнаты; но ни в одной никого не нашли.

– Да уж не туда ли пошли-с? – указал кто-то на дверь в светелку. В самом деле, всегда затворенная дверца в светелку была теперь отперта и стояла настежь. Подыматься приходилось чуть не под крышу по деревянной, длинной, очень узенькой и ужасно крутой лестнице. Там была тоже какая-то комнатка.

– Я не пойду туда. С какой стати он полезет туда? – ужасно побледнела Варвара Петровна, озираясь на слуг. Те смотрели на нее и молчали. Даша дрожала.

Варвара Петровна бросилась по лесенке; Даша за нею; но едва вошла в светелку, закричала и упала без чувств.

Гражданин кантона Ури висел тут же за дверцей. На столике лежал клочок бумаги со словами карандашом: «Никого не винить, я сам». Тут же на столике лежал и молоток, кусок мыла и большой гвоздь, очевидно припасенный про запас. Крепкий шелковый снурок, очевидно заранее припасенный и выбранный, на котором повесился Николай Всеволодович, был жирно

намылен. Всё означало преднамеренность и сознание до последней минуты.

Наши медики по вскрытии трупа совершенно и настойчиво отвергли помешательство.

Идиот

История создания и анализ произведения

Годы работы над романом «Идиот» – 1867–1868. «Идея романа, – указывал автор, – моя старинная и любимая, но до того трудная, что я долго не смел браться за нее. Главная мысль романа – изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь…»

«На свете есть только одно положительно прекрасное лицо – Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж конечно есть бесконечное чудо. (Все Евангелие от Иоанна в этом смысле; он все чудо находит в одном воплощении, в одном проявлении прекрасного)» (*из письма к С.А. Ивановой, январь 1868 г.*). Среди исследователей творчества Достоевского есть мнение, что в основе сюжета романа «Идиот» – первое пришествие Христа, момент Его воплощения, явления в мир».

Достоевский отмечал: «Князь только прикоснулся к жизни. Но то, что бы он мог сделать и предпринять, то все умерло с ним. Россия действовала на него постепенно. Но где он только ни прикоснулся – везде он оставил неисследимую черту. И потому бесконечность историй в романе (miserabl'ей всех сословий) рядом с течением главного сюжета. (NB, NB, NB! Главный-то сюжет и надо обделать, создать)». Позже он поясняет: «Французское *misérable* в переводе означает «несчастный, жалкий человек, бедняк»». (Сравним с названием романа Виктора Гюго «Отверженные» (фр. «*Les Misérables*»). Итак, в романе противопоставляется линия князя Мышкина жизненным историям «отверженных» разных сословий и групп: это и генерал Иволгин, старик с чудачествами, которого стыдится семья, и чиновник Лебедев, «шут» Фердыщенко, ростовщик Птицын, «позитивист» Бурдовский с его компанией, рогожинская ватага… Все они контрастируют с праведником Мышкиным.

Характеристика главных героев (цитатный материал)

Парфён Рогожин

Один из них был небольшого роста, лет двадцати семи, курчавый и почти черноволосый, с серыми маленькими, но огненными глазами. Нос его был широк и сплюснут, лицо скулистое; тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку; но лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица.

Особенно приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное, до страдания, не гармонировавшее с нахальною и грубою улыбкой и с резким, самодовольным его взглядом. Он был тепло одет, в широкий мерлушечий черный крытый тулуп, и за ночь не зяб…

Лев Николаевич Мышкин

…сосед его принужден был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, к которой, очевидно, был не приготовлен. На нем был довольно широкий и толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном, точь-в-точь как употребляют часто дорожные, по зимам, где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии или, например, в Северной Италии, не рассчитывая, конечно, при этом и на такие концы по дороге, как от Эйдткунена до Петербурга. Но что годилось и вполне удовлетворяло в Италии, то оказалось не совсем пригодным в России. Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек, тоже лет двадцати шести или двадцати семи, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белою бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные; во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже

досиня иззябшее. В руках его болтался тощий узелок из старого, полинялого фуляра, заключавший, кажется, всё его дорожное достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки с штиблетами, – всё не по-русски.

Семейство Епанчиных

Генерал Епанчин жил в собственном своем доме, несколько в стороне от Литейной, к Спасу Преображения. Кроме этого (превосходного) дома, пять шестых которого отдавались внаем, генерал Епанчин имел еще огромный дом на Садовой, приносивший тоже чрезвычайный доход. Кроме этих двух домов, у него было под самым Петербургом весьма выгодное и значительное поместье; была еще в Петербургском уезде какая-то фабрика. В старину генерал Епанчин, как всем известно было, участвовал в откупах. Ныне он участвовал и имел весьма значительный голос в некоторых солидных акционерных компаниях. Слыл он человеком с большими деньгами, с большими занятиями и с большими связями. В иных местах он сумел сделаться совершенно необходимым, между прочим и на своей службе. А между тем известно тоже было, что Иван Федорович Епанчин – человек без образования и происходит из солдатских детей; последнее, без сомнения, только к чести его могло относиться, но генерал, хоть и умный был человек, был тоже не без маленьких, весьма простительных слабостей и не любил иных намеков. Но умный и ловкий человек он был бесспорно. Он, например, имел систему не выставляться, где надо – стушевываться, и его многие ценили именно за его простоту, именно за то, что он знал всегда свое место. А между тем, если бы только ведали эти судьи, что происходило иногда на душе у Ивана Федоровича, так хорошо знавшего свое место! Хоть и действительно он имел и практику, и опыт в житейских делах, и некоторые очень замечательные способности, но он любил выставлять себя более исполнителем чужой идеи, чем с своим царем в голове, человеком «без лести преданным», и – куда нейдет век? – даже русским и сердечным. В последнем отношении с ним приключилось даже несколько забавных анекдотов; но генерал никогда не унывал, даже и при самых забавных анекдотах; к тому же и везло ему, даже в картах, а он играл по чрезвычайно большой и даже с намерением не только не хотел скрывать эту свою маленькую будто бы слабость к картишкам, так существенно и во многих случаях ему пригождавшуюся, но и выставлял ее. Общества он был смешанного, разумеется во всяком

случае «тузового». Но всё было впереди, время терпело, время всё терпело, и всё должно было прийти со временем и своим чередом. Да и летами генерал Епанчин был еще, как говорится, в самом соку, то есть пятидесяти шести лет и никак не более, что во всяком случае составляет возраст цветущий, возраст, с которого, по-настоящему, начинается *истинная* жизнь. Здоровье, цвет лица, крепкие, хотя и черные, зубы, коренастое, плотное сложение, озабоченное выражение физиономии поутру на службе, веселое ввечеру за картами или у его сиятельства – всё способствовало настоящим и грядущим успехам и устилало жизнь его превосходительства розами.

Генерал обладал цветущим семейством. Правда, тут уже не всё были розы, но было зато и много такого, на чем давно уже начали серьезно и сердечно сосредоточиваться главнейшие надежды и цели его превосходительства. Да и что, какая цель в жизни важнее и святее целей родительских? К чему прикрепиться, как не к семейству? Семейство генерала состояло из супруги и трех взрослых дочерей. Женился генерал еще очень давно, еще будучи в чине поручика, на девице почти одного с ним возраста, не обладавшей ни красотой, ни образованием, за которою он взял всего только пятьдесят душ, – правда, и послуживших к основанию его дальнейшей фортуны. Но генерал никогда не роптал впоследствии на свой ранний брак, никогда не третировал его как увлечение нерасчетливой юности и супругу свою до того уважал и до того иногда боялся ее, что даже любил. Генеральша была из княжеского рода Мышкиных, рода хотя и не блестящего, но весьма древнего, и за свое происхождение весьма уважала себя. Некто из тогдашних влиятельных лиц, один из тех покровителей, которым покровительство, впрочем, ничего не стоит, согласился заинтересоваться браком молодой княжны. Он отворил калитку молодому офицеру и толкнул его в ход, а тому даже и не толчка, а только разве одного взгляда надо было – не пропал бы даром! За немногими исключениями, супруги прожили всё время своего долгого юбилея согласно. Еще в очень молодых летах своих генеральша умела найти себе, как урожденная княжна и последняя в роде, а может быть и по личным качествам, некоторых очень высоких покровительниц. Впоследствии, при богатстве и служебном значении своего супруга, она начала в этом высшем кругу даже несколько и освоиваться.

Все три девицы Епанчины были барышни здоровые, цветущие, рослые, с удивительными плечами, с мощною грудью, с сильными, почти как у мужчин, руками, и, конечно вследствие

своей силы и здоровья, любили иногда хорошо покушать, чего вовсе и не желали скрывать. Маменька их, генеральша Лизавета Прокофьевна, иногда косилась на откровенность их аппетита, но так как иные мнения ее, несмотря на всю наружную почтительность, с которою принимались дочерьми, в сущности, давно уже потеряли первоначальный и бесспорный авторитет между ними, и до такой даже степени, что установившийся согласный конклав трех девиц сплошь да рядом начинал пересиливать, то и генеральша, в видах собственного достоинства, нашла удобнее не спорить и уступать. Правда, характер весьма часто не слушался и не подчинялся решениям благоразумия; Лизавета Прокофьевна становилась с каждым годом всё капризнее и нетерпеливее, стала даже какая-то чудачка, но так как под рукой все-таки оставался весьма покорный и приученный муж, то излишнее и накопившееся изливалось обыкновенно на его голову, а затем гармония в семействе восстановлялась опять, и всё шло как не надо лучше.

Генеральша, впрочем, и сама не теряла аппетита и обыкновенно, в половине первого, принимала участие в обильном завтраке, похожем почти на обед, вместе с дочерьми. По чашке кофею выпивалось барышнями еще раньше, ровно в десять часов, в постелях, в минуту пробуждения. Так им полюбилось и установилось раз навсегда. В половине же первого накрывался стол в маленькой столовой, близ мамашиных комнат, и к этому семейному и интимному завтраку являлся иногда и сам генерал, если позволяло время. Кроме чаю, кофею, сыру, меду, масла, особых оладий, излюбленных самою генеральшей, котлет и прочего, подавался даже крепкий горячий бульон.

Ганя

Этот человек уверяет, – резко сказала Аглая, когда князь кончил читать, – что слово *«разорвите всё»* меня не скомпрометирует и не обяжет ничем, и сам дает мне в этом, как видите, письменную гарантию этою самою запиской. Заметьте, как наивно поспешил он подчеркнуть некоторые словечки и как грубо проглядывает его тайная мысль. Он, впрочем, знает, что если б он разорвал всё, но сам, один, не ожидая моего слова и даже не говоря мне об этом, без всякой надежды на меня, то я бы тогда переменила мои чувства к нему и, может быть, стала бы его другом. Он это знает наверно! Но у него душа грязная; он знает и не решается, он знает и все-таки гарантии просит. Он на веру решиться не в состоянии. Он хочет, чтоб я ему, взамен ста тысяч,

на себя надежду дала. Насчет же прежнего слова, про которое он говорит в записке и которое будто бы озарило его жизнь, то он нагло лжет. Я просто раз пожалела его. Но он дерзок и бесстыден: у него тотчас же мелькнула тогда мысль о возможности надежды; я это тотчас же поняла. С тех пор он стал меня улавливать; ловит и теперь. Но довольно; возьмите и отдайте ему записку назад, сейчас же, как выйдете из нашего дома, разумеется, не раньше.»

А что я давеча издевалась у тебя, Ганечка, так это я нарочно хотела сама в последний раз посмотреть: до чего ты сам можешь дойти? Ну, удивил же ты меня, право. Многого я ждала, а этого нет! Да неужто ты меня взять мог, зная, что вот он мне такой жемчуг дарит, чуть не накануне твоей свадьбы, а я беру? А Рогожин-то? Ведь он в твоем доме, при твоей матери и сестре, меня торговал, а ты вот все-таки после того свататься приехал да чуть сестру не привез? Да неужто же правду про тебя Рогожин сказал, что ты за три целковых на Васильевский остров ползком доползешь?

– Доползет, – проговорил вдруг Рогожин тихо, но с видом величайшего убеждения.

– И добро бы ты с голоду умирал, а ты ведь жалованье, говорят, хорошее получаешь! Да ко всему-то в придачу, кроме позора-то, ненавистную жену ввести в дом! (Потому что ведь ты меня ненавидишь, я это знаю!). Нет, теперь я верю, что этакой за деньги зарежет! (*Настасья Филипповна*)

Краткий пересказ романа «Идиот»

Действие романа начинается в конце 1867 года. Князь Лев Николаевич Мышкин, 26-ти лет, приезжает в Петербург из Швейцарии. Он знатного рода, однако сирота и без гроша в кармане: заболев в детстве нервным расстройством, позже он был помещен в Швейцарию на лечение своим опекуном. Когда деньги на лечение перестали поступать (благодетель умер), швейцарский доктор лечил и содержал князя за свой счет. Прожив в Швейцарии 4 года, князь возвращается в Россию, но будущее весьма неясно. В поезде князь знакомится с Парфеном Рогожиным, сыном богатого купца, который только что умер, наследником миллионного состояния. Однако свалившееся на него богатство мало радует Парфена: душа его болит от любви к Настасье Филипповне Барашковой, по слухам и предположениям – любовницы богатого аристократа Тоцкого.

В Петербурге у князя есть дальние родственники – семья генерала Епанчина (весьма дальнее родство проходит по линии Елизаветы Прокофьевны, жены генерала). Все три дочери Епанчиных и их мать принимают дальнего родственника

сначала настороженно, но потом он покоряет их своей детской непосредственностью. В доме Епанчиных князь знакомится и с чрезвычайно самолюбивым секретарем генерала Ганей Иволгиным, и во время «корректурных проб» в кабинете генерала впервые видит портрет Настасьи Филипповны, о которой он уже слышал в поезде. Ее красота с оттенками гордости и страдания потрясает князя.

Из разговора, который, не стесняясь, ведут при нем генерал и секретарь, можно узнать, что Тоцкий, на содержании которого находится Настасья Филипповна, хотел бы посвататься к одной из дочерей Епанчиных, но до этого необходимо было «развязаться» с содержанкой; вот почему Настасью Филипповну сватают Гане, давая в качестве приданого семьдесят пять тысяч. Ганя жаждет денег, чтобы с их помощью начать восхождение по карьерной и социальной лестнице. Но унизительность положения, условий, при которых он получает деньги, заставляет его душевно страдать. Если уж говорить о чувствах, то он испытывает их к Аглае Епанчиной (хотя возможность расчета не исключена и здесь). Ганя предлагает Аглае совершить выбор, она возмущена.

Приняв предложение поселиться в квартире Иволгиных, Мышкин знакомится с жильцами. Тут является Настасья Филипповна с приглашением на свой День рождения. Появляется и Рогожин с ватагой пьяных приятелей. Звучит тема торга: Настасью Филипповну – за сто тысяч! У Гани с сестрой происходит бурный скандал: домочадцы Гани оскорблены происходящим. Один лишь кроткий князь, которого гордая красавица сначала приняла за слугу, – лишь он признает вслух человеческое, душевное и непродажное в ее личности. За это Настасья Филипповна вскоре его и полюбит.

Покорённый красотой Настасьи Филипповны, князь приходит к ней вечером. Здесь собралось разношёрстное общество, начиная с генерала Епанчина, тоже увлечённого героиней, до шута Фердыщенко. На внезапный вопрос Настасьи Филипповны, выходить ли ей за Ганю, он отвечает отрицательно и тем самым разрушает планы присутствующего здесь же Тоцкого. В половине двенадцатого раздаётся удар колокольчика и появляется прежняя компания во главе с Рогожиным, который выкладывает перед своей избранницей завёрнутые в газету сто тысяч.

Князь до предела огорчен происходящим, он признается в любви к Настасье Филипповне и зовет замуж. К своему предложению он добавляет еще один аргумент – полученное от тетки наследство. Однако Настасья Филипповна, пребывая в душевной смуте, едет с Рогожиным, а Ганю подвергает суровому испытанию: бросив сверток с деньгами в камин, предлагает тому

достать сверток голыми руками. Измученный внутренней борьбой, Ганя сохраняет лицо и не лезет в камин, однако лишается чувств. Деньги Настасья Филипповна оставляет ему в награду за его страдания.

Проходит шесть месяцев. Князь исследует Россию, ездит. Роковая Настасья Филипповна мечется от праведника Мышкина к отчаянному Рогожину, не находя спокойствия души ни с кем.

Знаменателен первый визит князя к Рогожину. Его дом мрачен, как тюрьма, внимание Мышкина привлекает садовый нож (орудие будущего убийства) и копия картины Ханса Гольбейна, на которой изображён Спаситель, только что снятый с креста. Рогожин говорит, что любит смотреть на неё, князь в изумлении вскрикивает, что «…от этой картины у иного ещё вера может пропасть», и Рогожин это неожиданно подтверждает. Они обмениваются крестами, братаясь, и Парфен ведёт князя к матушке для благословения.

Возвратясь к себе в гостиницу, князь на темной узкой лестнице встречается со своим «братом» Парфеном, который заносит над князем нож. С князем случается припадок эпилепсии. Рогожин убегает.

Выздоравливая, князь общается с семьей Епанчиных. Как-то раз на прогулке с Епанчиными, князем Радомским, ухаживающим за Аглаей, и князем Щ., женихом Аделаиды, компания сталкивается с другой компанией, где присутствует Настасья Филипповна. Она ведет себя крайне вызывающе, ударяет офицера, приятеля Радомского. От ответного удара офицера удерживает князь Мышкин.

Кроткий князь везде выступает защитником: так, на своем собственном дне рождения он защищает от насмешек молодого Ипполита, совершившего неудачную попытку самоубийства.

В сердце князя растет любовь к Аглае. Сама Аглая предлагает стать ему другом. Настасья Филипповна пишет Аглае письма, где убеждает девушку стать женой Мышкина. События развиваются так, что действительно вскоре князь формально объявлен женихом Аглаи. На «смотринах» жениха у Епанчиных, вследствие смущения, волнения, у князя вновь случается припадок, к смущению всех присутствующих. Аглая назначает встречу Настасье Филипповне, куда прибывает вдвоем с князем. Там же присутствует и Рогожин. Аглая строго отчитывает Настасью Филипповну за вмешательство в личную жизнь. Месть следует незамедлительно. Оскорблённая тоном девушки, Настасья Филипповна призывает князя к себе и в очередной раз гонит Рогожина. Душа князя разрывается: Аглаю он любит всем сердцем, но и Настасью Филипповну жалеет за ее

помешательство. Эти страдания надрывают психику князя.

Вновь намечается свадьба, на сей раз князя и Настасьи Филипповны. В свойственном невесте состоянии смены настроения от эйфории до глубокого уныния она и пребывает, хотя внешне готовится к свадьбе, выписывая наряды. В день свадьбы случается внезапное: невеста бросается к Рогожину, стоящему в толпе, и тот на руках уносит ее в экипаж и увозит.

Наутро после неудавшейся свадьбы князь отправляется в Петербург, к Рогожину. Того нет дома, но князю чудится из-за шторы взгляд Рогожина. Князь ходит по знакомым Настасьи Филипповны, пытаясь узнать про неё, ходит вокруг дома Рогожина, но результатов нет: никто ничего не знает. И все-таки князю кажется, что Рогожин непременно его найдет. Так и происходит: Парфен подходит на улице и шепчет князю, чтобы тот следовал за ним. Изнемогая от ужасного предчувствия, которое постепенно переходит в уверенность, князь безропотно идет на Рогожиным. В доме на постели, укрытая простынями и клеенкой, спит Настасья Филипповна, она уже никогда больше не проснется. Убийца Рогожин поверяет князю детали совершенного преступления. От потрясения он периодически проваливается в бред и горячку, князь успокаивает его, гладя по лицу. Но страх и окружающая обстановка подействовали на князя так губительно, что к приходу полиции и свидетелей он уже не помнит себя и не узнает никого вокруг. От пережитого он вернулся в то же состояние, в котором когда-то покинул Россию.

Ключевые сцены романа «Идиот»

Въезд князя Мышкина в Россию ЧАСТЬ ПЕРВАЯ I

В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что насилу рассвело; в десяти шагах, вправо и влево от дороги, трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы; но более были наполнены отделения для третьего класса, и всё людом мелким и деловым, не из очень далека. Все, как водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назяблись, все лица были бледно-желтые, под цвет тумана.

В одном из вагонов третьего класса, с рассвета, очутились друг против друга, у самого окна, два пассажира – оба люди молодые, оба почти налегке, оба не щегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если б они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в третьеклассном вагоне петербургско-варшавского поезда. Один из них был небольшого роста, лет двадцати семи, курчавый и почти черноволосый, с серыми маленькими, но огненными глазами. Нос его был широк и сплюснут, лицо скулистое; тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку; но лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица.

Особенно приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное, до страдания, не гармонировавшее с нахальною и грубою улыбкой и с резким, самодовольным его взглядом. Он был тепло одет, в широкий мерлушечий черный крытый тулуп, и за ночь не зяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, к которой, очевидно, был не приготовлен. На нем был довольно широкий и толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном, точь-в-точь как употребляют часто дорожные, по зимам, где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии или, например, в Северной Италии, не рассчитывая, конечно, при этом и на такие

концы по дороге, как от Эйдткунена до Петербурга. Но что годилось и вполне удовлетворяло в Италии, то оказалось не совсем пригодным в России. Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек, тоже лет двадцати шести или двадцати семи, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белою бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные; во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже досиня иззябшее. В руках его болтался тощий узелок из старого, полинялого фуляра, заключавший, кажется, всё его дорожное достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки с штиблетами, – всё не по-русски. Черноволосый сосед в крытом тулупе всё это разглядел, частию от нечего делать, и наконец спросил с тою неделикатною усмешкой, в которой так бесцеремонно и небрежно выражается иногда людское удовольствие при неудачах ближнего:

– Зябко?

И повел плечами.

– Очень, – ответил сосед с чрезвычайною готовностью, – и, заметьте, это еще оттепель. Что ж, если бы мороз? Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык.

– Из-за границы, что ль?

– Да, из Швейцарии.

– Фью! Эк ведь вас!..

Черноволосый присвистнул и захохотал.

Завязался разговор. Готовность белокурого молодого человека в швейцарском плаще отвечать на все вопросы своего черномазого соседа была удивительная и без всякого подозрения совершенной небрежности, неуместности и праздности иных вопросов. Отвечая, он объявил, между прочим, что действительно долго не был в России, с лишком четыре года, что отправлен был за границу по болезни, по какой-то странной нервной болезни, вроде падучей или виттовой пляски, каких-то дрожаний и судорог. Слушая его, черномазый несколько раз усмехался; особенно засмеялся он, когда на вопрос: «Что же, вылечили?» – белокурый отвечал, что «нет, не вылечили».

– Хе! Денег что, должно быть, даром переплатили, а мы-то им здесь верим, – язвительно заметил черномазый.

– Истинная правда! – ввязался в разговор один сидевший рядом и дурно одетый господин, нечто вроде закорузлого в подьячестве чиновника, лет сорока, сильного сложения, с

красным носом и угреватым лицом, – истинная правда-с, только все русские силы даром к себе переводят!

– О, как вы в моем случае ошибаетесь, – подхватил швейцарский пациент тихим и примиряющим голосом, – конечно, я спорить не могу, потому что всего не знаю, но мой доктор мне из своих последних еще на дорогу сюда дал да два почти года там на свой счет содержал.

– Что ж, некому платить, что ли, было? – спросил черномазый.

– Да, господин Павлищев, который меня там содержал, два года назад помер; я писал потом сюда генеральше Епанчиной, моей дальней родственнице, но ответа не получил. Так с тем и приехал.

– Куда же приехали-то?

– То есть где остановлюсь?.. Да не знаю еще, право… так…

– Не решились еще?

И оба слушателя снова захохотали.

– И небось в этом узелке вся ваша суть заключается? – спросил черномазый.

– Об заклад готов биться, что так, – подхватил с чрезвычайно довольным видом красноносый чиновник, – и что дальнейшей поклажи в багажных вагонах не имеется, хотя бедность и не порок, чего опять-таки нельзя не заметить.

Оказалось, что и это было так: белокурый молодой человек тотчас же и с необыкновенною поспешностью в этом признался.

– Узелок ваш все-таки имеет некоторое значение, – продолжал чиновник, когда нахохотались досыта (замечательно, что и сам обладатель узелка начал наконец смеяться, глядя на них, что увеличило их веселость), – и хотя можно побиться, что в нем не заключается золотых заграничных свертков с наполеондорами и фридрихсдорами, ниже с голландскими арапчиками, о чем можно еще заключить хотя бы только по штиблетам, облекающим иностранные башмаки ваши, но… если к вашему узелку прибавить в придачу такую будто бы родственницу, как, примерно, генеральша Епанчина, то и узелок примет некоторое иное значение, разумеется в том только случае, если генеральша Епанчина вам действительно родственница и вы не ошибаетесь, по рассеянности… что очень и очень свойственно человеку, ну хоть… от излишка воображения.

– О, вы угадали опять, – подхватил белокурый молодой человек, – ведь действительно почти ошибаюсь, то есть почти что не родственница; до того даже, что я, право, нисколько и не удивился тогда, что мне туда не ответили. Я так и ждал.

– Даром деньги на франкировку письма истратили. Гм… по

крайней мере простодушны и искренны, а сие похвально! Гм… генерала же Епанчина знаем-с, собственно, потому, что человек общеизвестный; да и покойного господина Павлищева, который вас в Швейцарии содержал, тоже знавали-с, если только это был Николай Андреевич Павлищев, потому что их два двоюродные брата. Другой доселе в Крыму, а Николай Андреевич, покойник, был человек почтенный, и при связях, и четыре тысячи душ в свое время имели-с…

– Точно так, его звали Николай Андреевич Павлищев, – и, ответив, молодой человек пристально и пытливо оглядел господина всезнайку.

Эти господа всезнайки встречаются иногда, даже довольно часто, в известном общественном слое. Они всё знают, вся беспокойная пытливость их ума и способности устремляются неудержимо в одну сторону, конечно за отсутствием более важных жизненных интересов и взглядов, как сказал бы современный мыслитель. Под словом «всё знают» нужно разуметь, впрочем, область довольно ограниченную: где служит такой-то, с кем он знаком, сколько у него состояния, где был губернатором, на ком женат, сколько взял за женой, кто ему двоюродным братом приходится, кто троюродным и т. д., и т. д., и всё в этом роде. Большею частию эти всезнайки ходят с ободранными локтями и получают по семнадцати рублей в месяц жалованья. Люди, о которых они знают всю подноготную, конечно, не придумали бы, какие интересы руководствуют ими, а между тем многие из них этим знанием, равняющимся целой науке, положительно утешены, достигают самоуважения и даже высшего духовного довольства. Да и наука соблазнительная. Я видал ученых, литераторов, поэтов, политических деятелей, обретавших и обретших в этой же науке свои высшие примирения и цели, даже положительно только этим сделавших карьеру. В продолжение всего этого разговора черномазый молодой человек зевал, смотрел без цели в окно и с нетерпением ждал конца путешествия. Он был как-то рассеян, что-то очень рассеян, чуть ли не встревожен, даже становился как-то странен: иной раз слушал и не слушал, глядел и не глядел, смеялся и подчас сам не знал и не понимал, чему смеялся.

– А позвольте, с кем имею честь… – обратился вдруг угреватый господин к белокурому молодому человеку с узелком.

– Князь Лев Николаевич Мышкин, – отвечал тот с полною и немедленною готовностью.

– Князь Мышкин? Лев Николаевич? Не знаю-с. Так что даже и не слыхивал-с, – отвечал в раздумье чиновник, – то есть я не об имени, имя историческое, в Карамзина «Истории» найти можно и

должно, я об лице-с, да и князей Мышкиных уж что-то нигде не встречается, даже и слух затих-с.

– О, еще бы! – тотчас же ответил князь, – князей Мышкиных теперь и совсем нет, кроме меня; мне кажется, я последний. А что касается до отцов и дедов, то они у нас и однодворцами бывали. Отец мой был, впрочем, армии подпоручик, из юнкеров. Да вот не знаю, каким образом и генеральша Епанчина очутилась тоже из княжон Мышкиных, тоже последняя в своем роде…

– Хе-хе-хе! Последняя в своем роде! Хе-хе! Как это вы оборотили, – захихикал чиновник.

Усмехнулся тоже и черномазый. Белокурый несколько удивился, что ему удалось сказать, довольно, впрочем, плохой, каламбур.

– А представьте, я совсем не думая сказал, – пояснил он наконец в удивлении.

– Да уж понятно-с, понятно-с, – весело поддакнул чиновник.

– А что вы, князь, и наукам там обучались, у профессора-то? – спросил вдруг черномазый.

– Да… учился…

– А я вот ничему никогда не обучался.

– Да ведь и я так, кой-чему только, – прибавил князь, чуть не в извинение. – Меня по болезни не находили возможным систематически учить.

– Рогожиных знаете? – быстро спросил черномазый.

– Нет, не знаю, совсем. Я ведь в России очень мало кого знаю. Это вы-то Рогожин?

– Да, я, Рогожин, Парфен.

– Парфен? Да уж это не тех ли самых Рогожиных… – начал было с усиленною важностью чиновник.

– Да, тех, тех самых, – быстро и с невежливым нетерпением перебил его черномазый, который вовсе, впрочем, и не обращался ни разу к угреватому чиновнику, а с самого начала говорил только одному князю.

– Да… как же это? – удивился до столбняка и чуть не выпучил глаза чиновник, у которого всё лицо тотчас же стало складываться во что-то благоговейное, и подобострастное, даже испуганное, – это того самого Семена Парфеновича Рогожина, потомственного почетного гражданина, что с месяц назад тому помре и два с половиной миллиона капиталу оставил?

– А ты откуда узнал, что он два с половиной миллиона чистого капиталу оставил? – перебил черномазый, не удостоивая и в этот раз взглянуть на чиновника. – Ишь ведь! (мигнул он на него князю) и что только им от этого толку, что они прихвостнями тотчас же лезут? А это правда, что вот родитель

мой помер, а я из Пскова через месяц чуть не без сапог домой еду. Ни брат, подлец, ни мать ни денег, ни уведомления – ничего не прислали! Как собаке! В горячке в Пскове весь месяц пролежал.

– А теперь миллиончик с лишком разом получить приходится, и это по крайней мере, о господи! – всплеснул руками чиновник.

– Ну чего ему, скажите, пожалуйста! – раздражительно и злобно кивнул на него опять Рогожин, – ведь я тебе ни копейки не дам, хоть ты тут вверх ногами предо мной ходи.

– И буду, и буду ходить.

– Вишь! Да ведь не дам, не дам, хошь целую неделю пляши!

– И не давай! Так мне и надо; не давай! А я буду плясать. Жену, детей малых брошу, а пред тобой буду плясать. Польсти, польсти!

– Тьфу тебя! – сплюнул черномазый. – Пять недель назад я вот, как и вы, – обратился он к князю, – с одним узелком от родителя во Псков убег, к тетке; да в горячке там и слег, а он без меня и помре. Кондрашка пришиб. Вечная память покойнику, а чуть меня тогда до смерти не убил! Верите ли, князь, вот ей-богу! Не убеги я тогда, как раз бы убил.

– Вы его чем-нибудь рассердили? – отозвался князь с некоторым особенным любопытством рассматривая миллионера в тулупе. Но хотя и могло быть нечто достопримечательное собственно в миллионе и в получении наследства, князя удивило и заинтересовало и еще что-то другое; да и Рогожин сам почему-то особенно охотно взял князя в свои собеседники, хотя в собеседничестве нуждался, казалось, более механически, чем нравственно; как-то более от рассеянности, чем от простосердечия; от тревоги, от волнения, чтобы только глядеть на кого-нибудь и о чем-нибудь языком колотить. Казалось, что он до сих пор в горячке, и уж по крайней мере в лихорадке. Что же касается до чиновника, так тот так и повис над Рогожиным, дыхнуть не смел, ловил и взвешивал каждое слово, точно бриллианта искал.

– Рассердился-то он рассердился, да, может, и стоило, – отвечал Рогожин, – но меня пуще всего брат доехал. Про матушку нечего сказать, женщина старая, Четьи-Минеи читает, со старухами сидит, и что Сенька-брат порешит, так тому и быть. А он что же мне знать-то в свое время не дал? Понимаем-с! Оно правда, я тогда без памяти был. Тоже, говорят, телеграмма была пущена. Да телеграмма-то к тетке и приди. А она там тридцатый год вдовствует и всё с юродивыми сидит с утра до ночи. Монашенка не монашенка, а еще пуще того. Телеграммы-то она испужалась да, не распечатывая, в часть и представила, так она

там и залегла до сих пор. Только Конев, Василий Васильич, выручил, всё отписал. С покрова парчового на гробе родителя, ночью, брат кисти литые, золотые, обрезал: «Они, дескать, эвона каких денег стоят». Да ведь он за это одно в Сибирь пойти может, если я захочу, потому оно есть святотатство. Эй ты, пугало гороховое! – обратился он к чиновнику. – Как по закону: святотатство?

– Святотатство! Святотатство! – тотчас же поддакнул чиновник.

– За это в Сибирь?

– В Сибирь, в Сибирь! Тотчас в Сибирь!

– Они всё думают, что я еще болен, – продолжал Рогожин князю, – а я, ни слова не говоря, потихоньку, еще больной, сел в вагон да и еду: отворяй ворота, братец Семен Семеныч! Он родителю покойному на меня наговаривал, я знаю. А что я действительно чрез Настасью Филипповну тогда родителя раздражил, так это правда. Тут уж я один. Попутал грех.

– Чрез Настасью Филипповну? – подобострастно промолвил чиновник, как бы что-то соображая.

– Да ведь не знаешь! – крикнул на него в нетерпении Рогожин.

– Ан и знаю! – победоносно отвечал чиновник.

– Эвона! Да мало ль Настасий Филипповн! И какая ты наглая, я тебе скажу, тварь! Ну, вот так и знал, что какая-нибудь вот этакая тварь так тотчас же и повиснет! – продолжал он князю.

– Ан, может, и знаю-с! – тормошился чиновник. – Лебедев знает! Вы, ваша светлость, меня укорять изволите, а что коли я докажу? Ан та самая Настасья Филипповна и есть, чрез которую ваш родитель вам внушить пожелал калиновым посохом, а Настасья Филипповна есть Барашкова, так сказать даже знатная барыня, и тоже в своем роде княжна, а знается с некоим Тоцким, с Афанасием Ивановичем, с одним исключительно, помещиком и раскапиталистом, членом компаний и обществ, и большую дружбу на этот счет с генералом Епанчиным ведущие…

– Эге, да ты вот что! – действительно удивился наконец Рогожин. – Тьфу, черт, да ведь он и впрямь знает.

– Всё знает! Лебедев всё знает! Я, ваша светлость, и с Лихачевым Алексашкой два месяца ездил, и тоже после смерти родителя, и все, то есть все углы и проулки знаю, и без Лебедева, дошло до того, что ни шагу. Ныне он в долговом отделении присутствует, а тогда и Арманс, и Коралию, и княгиню Пацкую, и Настасью Филипповну имел случай узнать, да и много чего имел случай узнать.

– Настасью Филипповну? А разве она с Лихачевым… – злобно

посмотрел на него Рогожин, даже губы его побледнели и задрожали.

– Н-ничего! Н-н-ничего! Как есть ничего! – спохватился и заторопился поскорее чиновник, – н-никакими то есть деньгами Лихачев доехать не мог! Нет, это не то что Арманс. Тут один Тоцкий. Да вечером в Большом али во Французском театре в своей собственной ложе сидит. Офицеры там мало ли что промеж себя говорят, а и те ничего не могут доказать: «вот, дескать, это есть та самая Настасья Филипповна», да и только; а насчет дальнейшего – ничего! Потому что и нет ничего.

– Это вот всё так и есть, – мрачно и насупившись подтвердил Рогожин, – тоже мне и Залёжев тогда говорил. Я тогда, князь, в третьегодняшней отцовской бекеше через Невский перебегал, а она из магазина выходит, в карету садится. Так меня тут и прожгло. Встречаю Залёжева, тот не мне чета, ходит как приказчик от парикмахера, и лорнет в глазу, а мы у родителя в смазных сапогах да на постных щах отличались. Это, говорит, не тебе чета, это, говорит, княгиня, а зовут ее Настасьей Филипповной, фамилией Барашкова, и живет с Тоцким, а Тоцкий от нее как отвязаться теперь не знает, потому совсем то есть лет достиг настоящих, пятидесяти пяти, и жениться на первейшей раскрасавице во всем Петербурге хочет. Тут он мне и внушил, что сегодня же можешь Настасью Филипповну в Большом театре видеть, в балете, в ложе своей, в бенуаре, будет сидеть. У нас, у родителя, попробуй-ка в балет сходить, – одна расправа, убьет! Я, однако же, на час втихомолку сбегал и Настасью Филипповну опять видел; всю ту ночь не спал. Наутро покойник дает мне два пятипроцентные билета, по пяти тысяч каждый, сходи, дескать, да продай, да семь тысяч пятьсот к Андреевым на контору снеси, уплати, а остальную сдачу с десяти тысяч, не заходя никуда, мне представь; буду тебя дожидаться. Билеты-то я продал, деньги взял, а к Андреевым в контору не заходил, а пошел, никуда не глядя, в английский магазин да на все пару подвесок и выбрал, по одному бриллиантику в каждой, этак почти как по ореху будут, четыреста рублей должен остался, имя сказал, поверили. С подвесками я к Залёжеву: так и так, идем, брат, к Настасье Филипповне. Отправились. Что у меня тогда под ногами, что предо мною, что по бокам – ничего я этого не знаю и не помню. Прямо к ней в залу вошли, сама вышла к нам. Я то есть тогда не сказался, что это я самый и есть; а «от Парфена, дескать, Рогожина, – говорит Залёжев, – вам в память встречи вчерашнего дня; соблаговолите принять». Раскрыла, взглянула, усмехнулась: «Благодарите, говорит, вашего друга господина Рогожина за его любезное внимание», – откланялась и ушла. Ну, вот зачем я тут

не помер тогда же! Да если и пошел, так потому, что думал: «Всё равно, живой не вернусь!» А обиднее всего мне то показалось, что этот бестия Залёжев всё на себя присвоил. Я и ростом мал, и одет как холуй, и стою, молчу, на нее глаза пялю, потому стыдно, а он по всей моде, в помаде и завитой, румяный, галстух клетчатый, – так и рассыпается, так и расшаркивается, и уж наверно она его тут вместо меня приняла! «Ну, говорю, как мы вышли, ты у меня теперь тут не смей и подумать, понимаешь!» Смеется: «А вот как-то ты теперь Семену Парфенычу отчет отдавать будешь?» Я, правда, хотел было тогда же в воду, домой не заходя, да думаю: «Ведь уж всё равно», – и как окаянный воротился домой.

– Эх! Ух! – кривился чиновник, и даже дрожь его пробирала, – а ведь покойник не то что за десять тысяч, а за десять целковых на тот свет сживывал, – кивнул он князю. Князь с любопытством рассматривал Рогожина; казалось, тот был еще бледнее в эту минуту.

– «Сживывал»! – переговорил Рогожин. – Ты что знаешь? Тотчас, – продолжал он князю, – про всё узнал, да и Залёжев каждому встречному пошел болтать. Взял меня родитель, и наверху запер, и целый час поучал. «Это я только, говорит, предуготовляю тебя, а вот я с тобой еще на ночь попрощаться зайду». Что ж ты думаешь? Поехал седой к Настасье Филипповне, земно ей кланялся, умолял и плакал; вынесла она ему наконец коробку, шваркнула: «Вот, говорит, тебе, старая борода, твои серьги, а они мне теперь в десять раз дороже ценой, коли из-под такой грозы их Парфен добывал. Кланяйся, говорит, и благодари Парфена Семеныча». Ну, а я этой порой, по матушкину благословению, у Сережки Протушина двадцать рублей достал да во Псков по машине и отправился, да приехал-то в лихорадке; меня там святцами зачитывать старухи принялись, а я пьян сижу, да пошел потом по кабакам на последние, да в бесчувствии всю ночь на улице и провалялся, ан к утру горячка, а тем временем за ночь еще собаки обгрызли. Насилу очнулся.

– Ну-с, ну-с, теперь запоет у нас Настасья Филипповна! – потирая руки, хихикал чиновник, – теперь, сударь, что подвески! Теперь мы такие подвески вознаградим…

– А то, что если ты хоть раз про Настасью Филипповну какое слово молвишь, то, вот тебе бог, тебя высеку, даром что ты с Лихачевым ездил, – вскрикнул Рогожин, крепко схватив его за руку.

– А коли высечешь, значит, и не отвергнешь! Секи! Высек, и тем самым запечатлел… А вот и приехали!

Действительно, въезжали в воксал. Хотя Рогожин и говорил, что он уехал тихонько, но его уже поджидали несколько человек.

Они кричали и махали ему шапками.

– Ишь, и Залёжев тут! – пробормотал Рогожин, смотря на них с торжествующею и даже как бы злобною улыбкой, и вдруг оборотился к князю. – Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил. Может, оттого, что в этакую минуту встретил, да вот ведь и его встретил (он указал на Лебедева), а ведь не полюбил же его. Приходи ко мне, князь. Мы эти штиблетишки-то с тебя поснимаем, одену тебя в кунью шубу в первейшую, фрак тебе сошью первейший, жилетку белую али какую хошь, денег полны карманы набью, и… поедем к Настасье Филипповне! Придешь али нет?

– Внимайте, князь Лев Николаевич! – внушительно и торжественно подхватил Лебедев. – Ой, не упускайте! Ой, не упускайте!..

Князь Мышкин привстал, вежливо протянул Рогожину руку и любезно сказал ему:

– С величайшим удовольствием приду и очень вас благодарю за то, что вы меня полюбили. Даже, может быть, сегодня же приду, если успею. Потому, я вам скажу откровенно, вы мне сами очень понравились, и особенно когда про подвески бриллиантовые рассказывали. Даже и прежде подвесок понравились, хотя у вас и сумрачное лицо. Благодарю вас тоже за обещанные мне платья и за шубу, потому мне действительно платье и шуба скоро понадобятся. Денег же у меня в настоящую минуту почти ни копейки нет.

– Деньги будут, к вечеру будут, приходи!

– Будут, будут, – подхватил чиновник, – к вечеру, до зари еще, будут!

– А до женского пола вы, князь, охотник большой? Сказывайте раньше!

– Я, н-н-нет! Я ведь… Вы, может быть, не знаете, я ведь по прирожденной болезни моей даже совсем женщин не знаю.

– Ну коли так, – воскликнул Рогожин, – совсем ты, князь, выходишь юродивый, и таких, как ты, бог любит!

– И таких господь бог любит, – подхватил чиновник.

– А ты ступай за мной, строка, – сказал Рогожин Лебедеву, и все вышли из вагона.

Лебедев кончил тем, что достиг своего. Скоро шумная ватага удалилась по направлению к Вознесенскому проспекту. (…)

Глава, в которой Настасья Филипповна жжёт деньги XVI

– Верное дело, – объявил наконец Птицын, складывая письмо

и передавая его князю. – Вы получаете безо всяких хлопот, по неоспоримому духовному завещанию вашей тетки, чрезвычайно большой капитал.

– Быть не может! – воскликнул генерал, точно выстрелил.

Все опять разинули рты.

Птицын объяснил, обращаясь преимущественно к Ивану Федоровичу, что у князя пять месяцев тому назад умерла тетка, которой он никогда не знал лично, родная и старшая сестра матери князя, дочь московского купца третьей гильдии, Папушина, умершего в бедности и в банкротстве. Но старший родной брат этого Папушина, недавно также умерший, был известный богатый купец. С год тому назад у него умерли почти в один и тот же месяц два его единственные сына. Это так его поразило, что старик недолго спустя сам заболел и умер. Он был вдов, совершенно никого наследников, кроме тетки князя, родной племянницы Папушина, весьма бедной женщины и приживавшей в чужом доме. Во время получения наследства эта тетка уже почти умирала от водяной, но тотчас же стала разыскивать князя, поручив это Салазкину, и успела сделать завещание. По-видимому, ни князь, ни доктор, у которого он жил в Швейцарии, не захотели ждать официальных уведомлений или делать справки, а князь, с письмом Салазкина в кармане, решился отправиться сам…

– Одно только могу вам сказать, – заключил Птицын, обращаясь к князю, – что всё это должно быть бесспорно и право, и всё, что пишет вам Салазкин о бесспорности и законности вашего дела, можете принять как за чистые деньги в кармане. Поздравляю вас, князь! Может быть, тоже миллиона полтора получите, а пожалуй что и больше. Папушин был очень богатый купец.

– Ай да последний в роде князь Мышкин! – завопил Фердыщенко.

– Ура! – пьяным голоском прохрипел Лебедев.

– А я-то ему давеча двадцать пять целковых ссудил, бедняжке, ха-ха-ха! фантасмагория, да и только! – почти ошеломленный от изумления проговорил генерал. – Ну, поздравляю, поздравляю! – и, встав с места, подошел к князю обнять его. За ним стали вставать и другие и тоже полезли к князю. Даже отретировавшиеся за портьеру стали появляться в гостиной. Пошел смутный говор, восклицания, раздались даже требования шампанского; всё затолкалось, засуетилось. На мгновение чуть не позабыли Настасью Филипповну и что все-таки она хозяйка своего вечера. Но мало-помалу всем почти разом представилась идея, что князь только что сделал ей предложение. Дело, стало

быть, представлялось еще втрое более сумасшедшим и необыкновенным, чем прежде. Глубоко изумленный Тоцкий пожимал плечами; почти только он один и сидел, остальная толпа вся в беспорядке теснилась вокруг стола. Все утверждали потом, что с этого-то мгновения Настасья Филипповна и помешалась. Она продолжала сидеть и некоторое время оглядывала всех странным, удивленным каким-то взглядом, как бы не понимая и силясь сообразить. Потом она вдруг обратилась к князю и, грозно нахмурив брови, пристально его разглядывала; но это было на мгновение; может быть, ей вдруг показалось, что всё это шутка, насмешка; но вид князя тотчас ее разуверил. Она задумалась, опять потом улыбнулась, как бы не сознавая ясно чему…

– Значит, в самом деле княгиня! – прошептала она про себя, как бы насмешливо и взглянув нечаянно на Дарью Алексеевну, засмеялась. – Развязка неожиданная… я… не так ожидала… Да что же вы, господа, стоите, сделайте одолжение, садитесь, поздравьте меня с князем! Кто-то, кажется, просил шампанского; Фердыщенко, сходите, прикажите. Катя, Паша, – увидала она вдруг в дверях своих девушек, – подите сюда, я замуж выхожу, слышали? За князя, у него полтора миллиона, он князь Мышкин и меня берет!

– Да и с богом, матушка, пора! Нечего пропускать-то! – крикнула Дарья Алексеевна, глубоко потрясенная происшедшим.

– Да садись же подле меня, князь, – продолжала Настасья Филипповна, – вот так, а вот и вино несут, поздравьте же, господа!

– Ура! – крикнуло множество голосов. Многие затеснились к вину, в том числе были почти все рогожинцы. Но хоть они и кричали и готовы были кричать, но многие из них, несмотря на всю странность обстоятельств и обстановки, почувствовали, что декорация переменяется. Другие были в смущении и ждали недоверчиво. А многие шептали друг другу, что ведь дело это самое обыкновенное, что мало ли на ком князья женятся, и цыганок из таборов берут. Сам Рогожин стоял и глядел, искривив лицо в неподвижную, недоумевающую улыбку.

– Князь, голубчик, опомнись! – с ужасом шепнул генерал, подойдя сбоку и дергая князя за рукав.

Настасья Филипповна заметила и захохотала.

– Нет, генерал! Я теперь и сама княгиня, слышали, – князь меня в обиду не даст! Афанасий Иванович, поздравьте вы-то меня; я теперь с вашею женою везде рядом сяду; как вы думаете, выгодно такого мужа иметь? Полтора миллиона, да еще князь, да еще, говорят, идиот в придачу, чего лучше? Только теперь и

начнется настоящая жизнь! Опоздал, Рогожин! Убирай свою пачку, я за князя замуж выхожу и сама богаче тебя!

Но Рогожин постиг, в чем дело. Невыразимое страдание отпечатлелось в лице его. Он всплеснул руками, и стон вырвался из его груди.

– Отступись! – прокричал он князю.

Кругом засмеялись.

– Это для тебя отступиться-то? – торжествуя, подхватила Дарья Алексеевна. – Ишь, деньги вывалил на стол, мужик! Князь-то замуж берет, а ты безобразничать явился!

– И я беру! Сейчас беру, сию минуту! Всё отдам…

– Ишь, пьяный из кабака, выгнать тебя надо! – в негодовании повторила Дарья Алексеевна. Смех пошел пуще.

– Слышишь, князь, – обратилась к нему Настасья Филипповна, – вот как твою невесту мужик торгует.

– Он пьян, – сказал князь. – Он вас очень любит.

– А не стыдно тебе потом будет, что твоя невеста чуть с Рогожиным не уехала?

– Это вы в лихорадке были; вы и теперь в лихорадке, как в бреду.

– И не постыдишься, когда потом тебе скажут, что твоя жена у Тоцкого в содержанках жила?

– Нет, не постыжусь… Вы не по своей воле у Тоцкого были.

– И никогда не попрекнешь?

– Не попрекну.

– Ну, смотри, за всю жизнь не ручайся!

– Настасья Филипповна, – сказал князь тихо и как бы с состраданием, – я вам давеча говорил, что за честь приму ваше согласие и что вы мне честь делаете, а не я вам. Вы на эти слова усмехнулись, и кругом, я слышал, тоже смеялись. Я, может быть, смешно очень выразился и был сам смешон, но мне всё казалось, что я… понимаю, в чем честь, и уверен, что я правду сказал. Вы сейчас загубить себя хотели, безвозвратно, потому что вы никогда не простили бы себе потом этого: а вы ни в чем не виноваты. Быть не может, чтобы ваша жизнь совсем уже погибла. Что ж такое, что к вам Рогожин пришел, а Гаврила Ардалионович вас обмануть хотел? Зачем вы беспрестанно про это упоминаете? То, что вы сделали, на то немногие способны, это я вам повторяю, а что вы с Рогожиным ехать хотели, то это вы в болезненном припадке решили. Вы и теперь в припадке, и лучше бы вам идти в постель. Вы завтра же в прачки бы пошли, а не остались бы с Рогожиным. Вы горды, Настасья Филипповна, но, может быть, вы уже до того несчастны, что и действительно виновною себя считаете. За вами нужно много ходить, Настасья Филипповна. Я буду ходить за

вами. Я давеча ваш портрет увидал, и точно я знакомое лицо узнал. Мне тотчас показалось, что вы как будто уже звали меня… Я… я вас буду всю жизнь уважать, Настасья Филипповна, – заключил вдруг князь, как бы вдруг опомнившись, покраснев и сообразив, пред какими людьми он это говорит.

Птицын так даже от целомудрия наклонил голову и смотрел в землю. Тоцкий про себя подумал: «Идиот, а знает, что лестью всего лучше возьмешь; натура!». Князь заметил тоже из угла сверкающий взгляд Гани, которым тот как бы хотел испепелить его.

– Вот так добрый человек! – провозгласила умилившаяся Дарья Алексеевна.

– Человек образованный, но погибший! – вполголоса прошептал генерал.

Тоцкий взял шляпу и приготовился встать, чтобы тихонько скрыться. Он и генерал переглянулись, чтобы выйти вместе.

– Спасибо, князь, со мной так никто не говорил до сих пор, – проговорила Настасья Филипповна, – меня всё торговали, а замуж никто еще не сватал из порядочных людей. Слышали, Афанасий Иваныч? Как вам покажется всё, что князь говорил? Ведь почти что неприлично… Рогожин! Ты погоди уходить-то. Да ты и не уйдешь, я вижу. Может, я еще с тобой отправлюсь. Ты куда везти-то хотел?

– В Екатерингоф, – отрапортовал из угла Лебедев, а Рогожин только вздрогнул и смотрел во все глаза, как бы не веря себе. Он совсем отупел, точно от ужасного удара по голове.

– Да что ты, что ты, матушка! Подлинно припадки находят; с ума, что ли, сошла? – вскинулась испуганная Дарья Алексеевна.

– А ты и впрямь думала? – хохоча вскочила с дивана Настасья Филипповна. – Этакого-то младенца сгубить? Да это Афанасию Иванычу в ту ж пору: это он младенцев любит! Едем, Рогожин! Готовь свою пачку! Ничего, что жениться хочешь, а деньги-то все-таки давай. Я за тебя-то еще и не пойду, может быть. Ты думал, как сам жениться хотел, так пачка у тебя и останется? Врешь! Я сама бесстыдница! Я Тоцкого наложницей была… Князь! тебе теперь надо Аглаю Епанчину, а не Настасью Филипповну, а то что – Фердыщенко-то пальцами будет указывать! Ты не боишься, да я буду бояться, что тебя загубила да что потом попрекнешь! А что ты объявляешь, что я честь тебе сделаю, так про то Тоцкий знает. А Аглаю-то Епанчину ты, Ганечка, просмотрел: знал ли ты это? Не торговался бы ты с ней, она непременно бы за тебя вышла! Вот так-то вы все: или с бесчестными, или с честными женщинами знаться – один выбор! А то непременно спутаешься… Ишь, генерал-то смотрит, рот раскрыл…

– Это содом, содом! – повторял генерал, вскидывая плечами. Он тоже встал с дивана; все опять были на ногах. Настасья Филипповна была как бы в исступлении,

– Неужели! – простонал князь, ломая руки.

– А ты думал, нет? Я, может быть, и сама гордая, нужды нет, что бесстыдница! Ты меня совершенством давеча называл; хорошо совершенство, что из одной похвальбы, что миллион и княжество растоптала, в трущобу идет! Ну, какая я тебе жена после этого? Афанасий Иваныч, а ведь миллион-то я и в самом деле в окно выбросила! Как же вы думали, что я за Ганечку да за ваши семьдесят пять тысяч за счастье выйти сочту? Семьдесят пять тысяч ты возьми себе, Афанасий Иваныч (и до ста-то не дошел, Рогожин перещеголял!); а Ганечку я утешу сама, мне мысль пришла. А теперь я гулять хочу, я ведь уличная! Я десять лет в тюрьме просидела, теперь мое счастье! Что же ты, Рогожин? Собирайся, едем!

– Едем! – заревел Рогожин, чуть не в исступлении от радости. – Ей вы… кругом… вина! Ух!..

– Припасай вина, я пить буду. А музыка будет?

– Будет, будет! Не подходи! – завопил Рогожин в исступлении, увидя, что Дарья Алексеевна подходит к Настасье Филипповне. – Моя! Всё мое! Королева! Конец!

Он от радости задыхался; он ходил вокруг Настасьи Филипповны и кричал на всех: «Не подходи!». Вся компания уже набилась в гостиную. Одни пили, другие кричали и хохотали, все были в самом возбужденном и непринужденном состоянии духа. Фердыщенко начинал пробовать к ним пристроиться. Генерал и Тоцкий сделали опять движение поскорее скрыться. Ганя тоже был со шляпой в руке, но он стоял молча и всё еще как бы оторваться не мог от развивавшейся пред ним картины.

– Не подходи! – кричал Рогожин.

– Да что ты орешь-то! – хохотала на него Настасья Филипповна. – Я еще у себя хозяйка; захочу, еще тебя в толчки выгоню. Я не взяла еще с тебя денег-то, вон они лежат; давай их сюда, всю пачку! Это в этой-то пачке сто тысяч? Фу, какая мерзость! Что ты, Дарья Алексеевна? Да неужто же мне его загубить было? (Она показала на князя). Где ему жениться, ему самому еще няньку надо: вон генерал и будет у него в няньках, – ишь за ним увивается! Смотри, князь, твоя невеста деньги взяла, потому что она распутная, а ты ее брать хотел! Да что ты плачешь-то? Горько, что ли? А ты смейся, по-моему, – продолжала Настасья Филипповна, у которой у самой засверкали две крупные слезы на щеках. – Времени верь – всё пройдет! Лучше теперь одуматься, чем потом… Да что вы всё плачете – вот и Катя

плачет! Чего ты, Катя, милая? Я вам с Пашей много оставляю, уже распорядилась, а теперь прощайте! Я тебя, честную девушку, за собой, за распутной, ухаживать заставляла… Этак-то лучше, князь, право лучше, потом презирать меня стал бы, и не было бы нам счастья! Не клянись, не верю! Да и как глупо-то было бы!.. Нет, лучше простимся по-доброму, а то ведь я и сама мечтательница, проку бы не было! Разве я сама о тебе не мечтала? Это ты прав, давно мечтала, еще в деревне у него, пять лет прожила одна-одинехонька; думаешь-думаешь, бывало-то, мечтаешь-мечтаешь, – и вот всё такого, как ты, воображала, доброго, честного, хорошего и такого же глупенького, что вдруг придет да и скажет: «Вы не виноваты, Настасья Филипповна, а я вас обожаю!». Да так, бывало, размечтаешься, что с ума сойдёшь… А тут приедет вот этот: месяца по два гостил в году, опозорит, разобидит, распалит, развратит, уедет, – так тысячу раз в пруд хотела кинуться, да подла была, души не хватало, ну, а теперь… Рогожин, готов?

– Готово! Не подходи!

– Готово! – раздалось несколько голосов.

– Тройки ждут с колокольчиками!

Настасья Филипповна схватила в руки пачку.

– Ганька, ко мне мысль пришла: я тебя вознаградить хочу, потому за что же тебе всё-то терять? Рогожин, доползет он на Васильевский за три целковых?

– Доползет!

– Ну, так слушай же, Ганя, я хочу на твою душу в последний раз посмотреть; ты меня сам целых три месяца мучил; теперь мой черед. Видишь ты эту пачку, в ней сто тысяч! Вот я ее сейчас брошу в камин, в огонь, вот при всех, все свидетели! Как только огонь обхватит ее всю – полезай в камин, но только без перчаток, с голыми руками, и рукава отверни, и тащи пачку из огня! Вытащишь – твоя, все сто тысяч твои! Капельку только пальчики обожжешь, – да ведь сто тысяч, подумай! Долго ли выхватить! А я на душу твою полюбуюсь, как ты за моими деньгами в огонь полезешь. Все свидетели, что пачка будет твоя! А не полезешь, так и сгорит; никого не пущу. Прочь! Все прочь! Мои деньги! Я их за мочь у Рогожина взяла. Мои ли деньги, Рогожин?

– Твои, радость! Твои, королева!

– Ну, так все прочь, что хочу, то и делаю! Не мешать! Фердыщенко, поправьте огонь!

– Настасья Филипповна, руки не подымаются! – отвечал ошеломленный Фердыщенко.

– Э-эх! – крикнула Настасья Филипповна, схватила каминные щипцы, разгребла два тлевшие полена и, чуть только вспыхнул

огонь, бросила на него пачку.

Крик раздался кругом; многие даже перекрестились.

– С ума сошла, с ума сошла! – кричали кругом.

– Не… не… связать ли нам ее? – шепнул генерал Птицыну, – или не послать ли… С ума ведь сошла, ведь сошла? Сошла?

– Н-нет, это, может быть, не совсем сумасшествие, – прошептал бледный как платок и дрожащий Птицын, не в силах отвести глаз своих от затлевшейся пачки.

– Сумасшедшая? Ведь сумасшедшая? – приставал генерал к Тоцкому.

– Я вам говорил, что колоритная женщина, – пробормотал тоже отчасти побледневший Афанасий Иванович.

– Но ведь, однако ж, сто тысяч!..

– Господи, господи! – раздавалось кругом. Все затеснились вокруг камина, все лезли смотреть, все восклицали… Иные даже вскочили на стулья, чтобы смотреть через головы. Дарья Алексеевна выскочила в другую комнату и в страхе шепталась о чем-то с Катей и с Пашей. Красавица немка убежала.

– Матушка! Королевна! Всемогущая! – вопил Лебедев, ползая на коленках перед Настасьей Филипповной и простирая руки к камину. – Сто тысяч! Сто тысяч! Сам видел, при мне упаковывали! Матушка! Милостивая! Повели мне в камин: весь влезу, всю голову свою седую в огонь вложу!.. Больная жена без ног, тринадцать человек детей – всё сироты, отца схоронил на прошлой неделе, голодный сидит, Настасья Филипповна!! – и, провопив, он пополз было в камин.

– Прочь! – закричала Настасья Филипповна, отталкивая его. – Расступитесь все! Ганя, чего же ты стоишь? Не стыдись! Полезай! Твое счастье!

Но Ганя уже слишком много вынес в этот день и в этот вечер и к этому последнему неожиданному испытанию был не приготовлен. Толпа расступилась пред ними на две половины, и он остался глаз на глаз с Настасьей Филипповной, в трех шагах от нее расстояния. Она стояла у самого камина и ждала, не спуская с него огненного, пристального взгляда. Ганя, во фраке, со шляпой в руке и с перчатками, стоял пред нею молча и безответно, скрестив руки и смотря на огонь. Безумная улыбка бродила на его бледном как платок лице. Правда, он не мог отвести глаз от огня, от затлевшейся пачки; но, казалось, что-то новое взошло ему в душу; как будто он поклялся выдержать пытку; он не двигался с места; через несколько мгновений всем стало ясно, что он не пойдет за пачкой, не хочет идти.

– Эй, сгорят, тебя же застыдят, – кричала ему Настасья Филипповна, – ведь после повесишься, я не шучу!

Огонь, вспыхнувший вначале между двумя дотлевавшими головнями, сперва было потух, когда упала на него и придавила его пачка. Но маленькое синее пламя еще цеплялось снизу за один угол нижней головешки. Наконец тонкий, длинный язычок огня лизнул и пачку, огонь прицепился и побежал вверх по бумаге по углам, и вдруг вся пачка вспыхнула в камине, и яркое пламя рванулось вверх. Все ахнули.

– Матушка! – всё еще вопил Лебедев, опять порываясь вперед, но Рогожин оттащил и оттолкнул его снова.

Сам Рогожин весь обратился в один неподвижный взгляд. Он оторваться не мог от Настасьи Филипповны, он упивался, он был на седьмом небе.

– Вот это так королева! – повторял он поминутно, обращаясь кругом к кому ни попало. – Вот это так по-нашему! – вскрикивал он, не помня себя. – Ну, кто из вас, мазурики, такую штуку сделает, а?

Князь наблюдал грустно и молча.

– Я зубами выхвачу за одну только тысячу! – предложил было Фердыщенко.

– Зубами-то и я бы сумел! – проскрежетал кулачный господин сзади всех в припадке решительного отчаяния. – Ч-черрт возьми! Горит, всё сгорит! – вскричал он, увидев пламя.

– Горит, горит! – кричали все в один голос, почти все тоже порываясь к камину.

– Ганя, не ломайся, в последний раз говорю!

– Полезай! – заревел Фердыщенко, бросаясь к Гане в решительном исступлении и дергая его за рукав, – полезай, фанфаронишка! Сгорит! О, пр-р-роклятый!

Ганя с силой оттолкнул Фердыщенка, повернулся и пошел к дверям; но, не сделав и двух шагов, зашатался и грохнулся об пол.

– Обморок! – закричали кругом.

– Матушка, сгорят! – вопил Лебедев.

– Даром сгорят! – ревели со всех сторон.

– Катя, Паша, воды ему, спирту! – крикнула Настасья Филипповна, схватила каминные щипцы и выхватила пачку.

Вся почти наружная бумага обгорела и тлела, но тотчас же было видно, что внутренность была не тронута. Пачка была обернута в тройной газетный лист, и деньги были целы. Все вздохнули свободнее.

– Разве только тысчоночка какая-нибудь поиспортилась, а остальные все целы, – с умилением выговорил Лебедев.

– Все его! Вся пачка его! Слышите господа! – провозгласила Настасья Филипповна, кладя пачку возле Гани. – А не пошел-

таки, выдержал! Значит, самолюбия еще больше, чем жажды денег. Ничего, очнется! А то бы зарезал, пожалуй… Вон уж и приходит в себя. Генерал, Иван Петрович, Дарья Алексеевна, Катя, Паша, Рогожин, слышали? Пачка его, Ганина. Я отдаю ему в полную собственность, в вознаграждение… ну, там, чего бы то ни было! Скажите ему. Пусть тут подле него и лежит… Рогожин, марш! Прощай, князь, в первый раз человека видела! Прощайте, Афанасий Иванович, merci!

Вся рогожинская ватага с шумом, с громом, с криками пронеслась по комнатам к выходу вслед за Рогожиным и Настасьей Филипповной. В зале девушки подали ей шубу; кухарка Марфа прибежала из кухни. Настасья Филипповна всех их перецеловала.

– Да неужто, матушка, вы нас совсем покидаете? Да куда же вы пойдете? И еще в день рождения, в такой день! – спрашивали расплакавшиеся девушки, целуя у ней руки.

– На улицу пойду, Катя, ты слышала, там мне и место, а не то в прачки! Довольно с Афанасием Ивановичем! Кланяйтесь ему от меня, а меня не поминайте лихом…

Князь стремглав бросился к подъезду, где все рассаживались на четырех тройках с колокольчиками. Генерал успел догнать его еще на лестнице.

– Помилуй, князь, опомнись! – говорил он, хватая его за руку, – брось! Видишь, какая она! Как отец говорю…

Князь поглядел на него, но, не сказав ни слова, вырвался и побежал вниз.

У подъезда, от которого только что откатили тройки, генерал разглядел, что князь схватил первого извозчика и крикнул ему в Екатерингоф, вслед за тройками. Затем подкатил генеральский серенький рысачок и увлек генерала домой, с новыми надеждами и расчетами и с давешним жемчугом, который генерал все-таки не забыл взять с собой. Между расчетами мелькнул ему раза два и соблазнительный образ Настасьи Филипповны; генерал вздохнул:

– Жаль! Искренно жаль! Погибшая женщина! Женщина сумасшедшая!.. Ну-с, а князю теперь не Настасью Филипповну надо…

В этом же роде несколько нравоучительных и напутственных слов произнесено было и другими двумя собеседниками из гостей Настасьи Филипповны, рассудившими пройти несколько пешком.

– Знаете, Афанасий Иванович, это, как говорят, у японцев в этом роде бывает, – говорил Иван Петрович Птицын, – обиженный там будто бы идет к обидчику и говорит ему: «Ты меня обидел, за это я пришел распороть в твоих глазах свой живот», и с этими словами действительно распарывает в глазах обидчика свой

живот и чувствует, должно быть, чрезвычайное удовлетворение, точно и в самом деле отметил. Странные бывают на свете характеры, Афанасий Иванович!

– А вы думаете, что и тут в этом роде было, – ответил с улыбкой Афанасий Иванович, – гм! Вы, однако ж, остроумно… и прекрасное сравнение привели. Но вы видели, однако же, сами, милейший Иван Петрович, что я сделал всё, что мог, не могу же я сверх возможного, согласитесь сами? Но согласитесь, однако ж, и с тем, что в этой женщине присутствовали капитальные достоинства… блестящие черты. Я давеча ей крикнуть даже хотел, если бы мог только себе это позволить при этом содоме, что она сама есть самое лучшее мое оправдание на все ее обвинения. Ну кто не пленился бы иногда этою женщиной до забвения рассудка и… всего? Смотрите, этот мужик, Рогожин, сто тысяч ей приволок! Положим, это всё, что случилось там теперь, – эфемерно, романтично, неприлично, но зато колоритно, зато оригинально, согласитесь сами. Боже, что бы могло быть из такого характера и при такой красоте! Но, несмотря на все усилия, на образование даже, – всё погибло! Нешлифованный алмаз – я несколько раз говорил это…

И Афанасий Иванович глубоко вздохнул.

XII ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учительша, прискакав в Павловск, явилась прямо к расстроенной со вчерашнего дня Дарье Алексеевне и, рассказав ей всё, что знала, напугала ее окончательно. Обе дамы немедленно решились войти в сношения с Лебедевым, тоже бывшим в волнении в качестве друга своего жильца и в качестве хозяина квартиры. Вера Лебедева сообщила всё, что знала. По совету Лебедева решили отправиться в Петербург всем троим для скорейшего предупреждения того, «что очень могло случиться». Таким образом вышло, что на другое уже утро, часов около одиннадцати, квартира Рогожина была отперта при полиции, при Лебедеве, при дамах и при братце Рогожина, Семене Семеновиче Рогожине, квартировавшем во флигеле. Успеху дела способствовало всего более показание дворника, что он видел вчера ввечеру Парфена Семеновича с гостем, вошедших с крыльца и как бы потихоньку. После этого показания уже не усомнились сломать двери, не отворявшиеся по звонку.

Рогожин выдержал два месяца воспаления в мозгу, а когда выздоровел – следствие и суд. Он дал во всем прямые, точные и совершенно удовлетворительные показания, вследствие которых

князь, с самого начала, от суда был устранен. Рогожин был молчалив во время своего процесса. Он не противоречил ловкому и красноречивому своему адвокату, ясно и логически доказывавшему, что совершившееся преступление было следствием воспаления мозга, начавшегося еще задолго до преступления вследствие огорчений подсудимого. Но он ничего не прибавил от себя в подтверждение этого мнения и по-прежнему, ясно и точно, подтвердил и припомнил все малейшие обстоятельства совершившегося события. Он был осужден, с допущением облегчительных обстоятельств, в Сибирь, в каторгу, на пятнадцать лет, и выслушал свой приговор сурово, безмолвно и «задумчиво». Всё огромное состояние его, кроме некоторой, сравнительно говоря, весьма малой доли, истраченной в первоначальном кутеже, перешло к братцу его, Семену Семеновичу, к большому удовольствию сего последнего. Старушка Рогожина продолжает жить на свете и как будто вспоминает иногда про любимого сына Парфена, но неясно: бог спас ее ум и сердце от сознания ужаса, посетившего грустный дом ее.

Лебедев, Келлер, Ганя, Птицын и многие другие лица нашего рассказа живут по-прежнему, изменились мало, и нам почти нечего о них передать. Ипполит скончался в ужасном волнении и несколько раньше, чем ожидал, недели две спустя после смерти Настасьи Филипповны. Коля был глубоко поражен происшедшим; он окончательно сблизился с своею матерью. Нина Александровна боится за него, что он не по летам задумчив; из него, может быть, выйдет человек хороший. Между прочим, отчасти по его старанию, устроилась и дальнейшая судьба князя: давно уже отличил он, между всеми лицами, которых узнал в последнее время, Евгения Павловича Радомского; он первый пошел к нему и передал ему все подробности совершившегося события, какие знал, и о настоящем положении князя. Он не ошибся: Евгений Павлович принял самое горячее участие в судьбе несчастного «идиота», и вследствие его стараний и попечений князь попал опять за границу в швейцарское заведение Шнейдера. Сам Евгений Павлович, выехавший за границу, намеревающийся очень долго прожить в Европе и откровенно называющий себя «совершенно лишним человеком в России», – довольно часто, по крайней мере в несколько месяцев раз, посещает своего больного друга у Шнейдера; но Шнейдер всё более и более хмурится и качает головой; он намекает на совершенное повреждение умственных органов; он не говорит еще утвердительно о неизлечимости, но позволяет себе самые грустные намеки. Евгений Павлович принимает это очень к сердцу, а у него есть

сердце, что он доказал уже тем, что получает письма от Коли и даже отвечает иногда на эти письма. Но кроме того, стала известна и еще одна странная черта его характера; и так как эта черта хорошая, то мы и поспешим ее обозначить: после каждого посещения Шнейдерова заведения Евгений Павлович, кроме Коли, посылает и еще одно письмо одному лицу в Петербург, с самым подробнейшим и симпатичным изложением состояния болезни князя в настоящий момент. Кроме самого почтительного изъявления преданности, в письмах этих начинают иногда появляться (и всё чаще и чаще) некоторые откровенные изложения взглядов, понятий, чувств, – одним словом, начинает проявляться нечто похожее на чувства дружеские и близкие. Это лицо, состоящее в переписке (хотя все-таки довольно редкой) с Евгением Павловичем и заслужившее настолько его внимание и уважение, есть Вера Лебедева. Мы никак не могли узнать в точности, каким образом могли завязаться подобные отношения; завязались они, конечно, по поводу всё той же истории с князем, когда Вера Лебедева была поражена горестью до того, что даже заболела; но при каких подробностях произошло знакомство и дружество, нам неизвестно. Упомянули же мы об этих письмах наиболее с тою целью, что в некоторых из них заключались сведения о семействе Епанчиных и, главное, об Аглае Ивановне Епанчиной. Про нее уведомлял Евгений Павлович в одном довольно нескладном письме из Парижа, что она, после короткой и необычайной привязанности к одному эмигранту, польскому графу, вышла вдруг за него замуж, против желания своих родителей, если и давших наконец согласие, то потому, что дело угрожало каким-то необыкновенным скандалом. Затем, почти после полугодового молчания, Евгений Павлович уведомил свою корреспондентку, опять в длинном и подробном письме, о том, что он, во время последнего своего приезда к профессору Шнейдеру, в Швейцарию, съехался у него со всеми Епанчиными (кроме, разумеется, Ивана Федоровича, который, по делам, остается в Петербурге) и князем Щ. Свидание было странное; Евгения Павловича встретили они все с каким-то восторгом; Аделаида и Александра сочли себя почему-то даже благодарными ему за его «ангельское попечение о несчастном князе». Лизавета Прокофьевна, увидав князя в его больном и униженном состоянии, заплакала от всего сердца. По-видимому, ему уже всё было прощено. Князь Щ. сказал при этом несколько счастливых и умных истин. Евгению Павловичу показалось, что он и Аделаида еще не совершенно сошлись друг с другом; но в будущем казалось неминуемым совершенно добровольное и сердечное подчинение пылкой Аделаиды уму и опыту князя Щ. К тому же и уроки,

вынесенные семейством, страшно на нее подействовали и, главное, последний случай с Аглаей и эмигрантом-графом. Всё, чего трепетало семейство, уступая этому графу Аглаю, всё уже осуществилось в полгода, с прибавкой таких сюрпризов, о которых даже и не мыслили. Оказалось, что этот граф даже и не граф, а если и эмигрант действительно, то с какою-то темною и двусмысленною историей. Пленил он Аглаю необычайным благородством своей истерзавшейся страданиями по отчизне души, и до того пленил, что та, еще до выхода замуж, стала членом какого-то заграничного комитета по восстановлению Польши и, сверх того, попала в католическую исповедальню какого-то знаменитого патера, овладевшего ее умом до исступления. Колоссальное состояние графа, о котором он представлял Лизавете Прокофьевне и князю Щ. почти неопровержимые сведения, оказалось совершенно небывалым. Мало того, в какие-нибудь полгода после брака граф и друг его, знаменитый исповедник, успели совершенно поссорить Аглаю с семейством, так что те ее несколько месяцев уже и не видали… Одним словом, много было бы чего рассказать, но Лизавета Прокофьевна, ее дочери и даже князь Щ. были до того уже поражены всем «террором», что даже боялись и упоминать об иных вещах в разговоре с Евгением Павловичем, хотя и знали, что он и без них хорошо знает историю последних увлечений Аглаи Ивановны. Бедной Лизавете Прокофьевне хотелось бы в Россию, и, по свидетельству Евгения Павловича, она желчно и пристрастно критиковала ему всё заграничное: «Хлеба нигде испечь хорошо не умеют, зиму, как мыши в подвале, мерзнут, – говорила она, – по крайней мере вот здесь, над этим бедным, хоть по-русски поплакала», – прибавила она, в волнении указывая на князя, совершенно ее не узнававшего. «Довольно увлекаться-то, пора и рассудку послужить. И всё это, и вся эта заграница, и вся эта ваша Европа, всё это одна фантазия, и все мы, за границей, одна фантазия… помяните мое слово, сами увидите!» – заключила она чуть не гневно, расставаясь с Евгением Павловичем.

Братья Карамазовы (1878-1879)

История создания и анализ романа «Братья Карамазовы»

За три года до смерти Федор Михайлович начал работу над последним своим романом «Братья Карамазовы». Действие романа «Братья Карамазовы» происходит в провинциальном городке Скотопригоньевске, в дворянской семье Карамазовых. Если задаться целью подобрать эпитеты к роману «Братья Карамазовы», то они будут такими: широкий, глобальный, глубокий, значимый. Именно таков роман «Братья Карамазовы», задуманный как серия романов; написан же был только первый, который, по словам автора, «почти даже не роман, а лишь один момент из первой юности моего героя» – «раннего человеколюбца» Алеши Карамазова, несущего в жизнь заветы своего монастырского наставника, «святого человека» отца Зосимы.

«Братья Карамазовы» – итоговое произведение писателя, в котором воплотились многие его художественные замыслы, в котором переплелись темы: божественное и дьявольское, их борьба в сердцах людей; преступление и наказание; отцы и дети; социализм и христианство. Чтобы до предела страдания довести душу героев, чтобы все, что в ней есть, пришло в действие, растревожилось, Достоевский рассматривает крайние состояния психики: во время «надрыва», убийства, истерики, душевного расстройства. При этом в «Братьях Карамазовых» уголовное преступление связано с вопросами мировой истории и с вечными темами человечества.

В творчестве Достоевского сильны мотивы детства. В биографии старца Зосимы находим мы сокровенные детские впечатления самого автора: «Из дома родительского вынес я лишь драгоценные воспоминания, ибо нет драгоценнее воспоминаний у человека, как от первого детства его в доме родительском, и это почти всегда так, если даже в семействе хоть только чуть-чуть любовь да союз. Да и от самого дурного семейства могут сохраниться воспоминания драгоценные, если только сама душа твоя способна искать драгоценное. К воспоминаниям же домашним причитаю и воспоминания о священной истории, которую в доме родительском, хотя и ребенком, я очень любопытствовал узнать. Была у меня тогда книга, священная история, с прекрасными картинками под названием «Сто четыре священные истории Ветхого и Нового завета», и по ней я и читать учился. И теперь она у меня здесь на полке лежит, как

драгоценную память сохраняю». По воспоминаниям брата, Достоевский действительно учился читать по этой книге. Как-то раз Федору Михайловичу посчастливилось достать издание «Священных историй» точно такое же как в детстве, он был рад безмерно и бережно хранил книгу.

«Братья Карамазовы» кончаются речью Алеши Карамазова, обращенной к его товарищам – школьникам, у камня после похорон мальчика Илюшечки: «Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорили про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение». Быть может, именно драгоценные воспоминания о счастливом детстве помогли писателю пережить самые тяжелые минуты и годы жизни – эшафот и каторгу.

Сокращенный пересказ романа «Братья Карамазовы»

В книге первой – «История одной семейки» – рассказывается история каждого действующего лица. Их судьба с детства не баловала: рано умершие матери (первая и вторая жены Федора Павловича), полное равнодушие со стороны отца – пьяницы, развратника, обделывавшего свои делишки всегда с подлостью. Передаваемые с рук на руки (счастье, что находились родственники и неравнодушные к судьбе сирот люди), три брата Карамазовых выросли, не голодая, не обделенные теплом и вниманием, получили образование, за исключением Мити, который «в гимназии не доучился, попал потом в одну военную школу, потом очутился на Кавказе, выслужился, дрался на дуэли, был разжалован, опять выслужился, много кутил…».

Время и место действия – провинциальный городок Скотопригоньевск, 1870-е гг. В монастыре, у старца Зосимы, подвижника и целителя, собираются отец Федор Павлович и сыновья Карамазовы – старший Дмитрий и средний Иван. Младший брат Алеша тут же – он послушник у старца. Повод этой встречи – денежный спор Дмитрия с отцом. Дмитрий считает, что обманут отцом, который должен ему крупную сумму денег. Федор Павлович в недавнем прошлом, пользуясь тем, что по образу жизни Дмитрий вечно нуждался в деньгах и согласен был на любые суммы, так, отец подвел все дела к тому, что как бы выплатил причитающуюся сыну долю наследства, а больше ему он ничего не должен. Вся мелочность и низость его натуры проявилась в этом деле, и в самих расчетах его. Отец прибывает на встречу скорее из любопытства. Обостряют финансовый конфликт отца и сына также ссора из-за женщины – Грушеньки, в которую оба влюблены. Отец даже готов жениться или потратить деньги на Грушеньку.

В скиту сходятся почти все главные герои романа. Братья Карамазовы – очень разные. Дмитрий порой попадает в плен своих страстей, порой он сначала делает, а потом думает. Иван умен, склонен к философствованию. Его волнуют вопросы о бессмертии, к слепой вере он не склонен, а все подвергает анализу. Именно в душу Ивана автор вкладывает центральный вопрос романа – все дозволено или не все? Алеша – юный праведник, чистая душа, болеет за всех.

О чем могли договориться эти стороны? Из дела выходит лишь скандал и шум. Мудрость проявляет лишь старец Зосима:

перед Дмитрием он кладет низкий поклон, предчувствуя его будущее страдание, Ивану на его скрытый вопрос отвечает, что если в его сердце вопрос не решится в положительную сторону, то не решится и в отрицательную сторону. Насчет Федора Павловича он проницательно отмечает, что все его шутовство от того, что он стыдится себя.

После ухода гостей Зосима отправляет Алешу Карамазова «в мир»: он должен находиться рядом с братьями. Послушно Алеша направляется к отцу и встречает прячущегося в соседнем с отцовской усадьбой саду брата Дмитрия, который сторожит здесь свою возлюбленную Грушеньку: старик отец предложил ей деньги, и Дмитрий боится, что они ее соблазнят. Здесь, в беседке, звучит исповедь Дмитрия перед братом. Дмитрий знаком с глубинами разврата, но чем ниже он опускался, тем более чувствовал свою связь с Богом. Сейчас он, Дмитрий, состоит в отношениях с благородной девицей Катериной Ивановной и считается ее женихом, но к ней равнодушен. Он спас отца Катерины Ивановны от позора за растрату казенных денег, ссудил ему нужную сумму. Забавляясь ситуацией, он предложил, чтобы сама гордая девушка пришла к нему за деньгами, и та вынуждена была прийти, готовая ко всему, однако Дмитрий взамен денег ничего не потребовал. Свою невесту Дмитрий не любит, а страстно увлечён Грушенькой. Он сознается в своем проступке: Дмитрий прокутил с Грушенькой на постоялом дворе в селе Мокрое три тысячи, данные ему Катериной Ивановной для отсылки сестре в Москву. Он не успокоится, пока не вернет всю сумму. В беседке Дмитрий караулит Грушеньку, и если та пойдет к старику – он ворвется и помешает, а может, и убьет ненавистного развратника. Дмитрий просит брата сходить к Катерине Ивановне и сказать ей, что он кланяется, но больше не придёт.

В доме отца, где сам Федор Павлович и брат Иван развлекаются рассуждениями лакея Смердякова, происходит очередная скандальная сцена: Дмитрий, которому показалось, что пришла Грушенька, врывается и избивает отца, потом убеждается, что ошибся.

К Катерине Ивановне Дмитрий просит сходить Алешу, там сидит Грушенька. Соперницы ведут разговор, делая друг дружке комплименты и уверяя в хороших чувствах. Истинные чувства прорываются, когда Грушенька, собираясь было поцеловать ручку Катерины Ивановны, внезапно демонстративно отказывается это сделать, оскорбив соперницу и вызвав её гнев.

Следующий день готовит для Алеши новую исповедь – теперь отца. Федор Павлович меньше всего сознавал себя когда-либо в

жизни отцом. В своих глазах он был и есть мужчина, и деньги ему нужны обязательно, потому что «в скверне своей до конца хочет прожить». Грушеньку он Дмитрию уступать не собирается.

По пути Алеша видит школьников, бросающих камни в маленького одинокого мальчика. Когда Алеша подходит к нему, тот сначала бросает в него камнем, а потом больно кусает за палец. Этот мальчик – сын штабс-капитана Снегирева, который недавно был унизительно вытащен за бороду из трактира и избит Дмитрием Карамазовым за то, что имел какие-то вексельные дела с Федором Павловичем и Грушенькой.

В доме Хохлаковой Алеша застаёт Ивана и Катерину Ивановну и становится свидетелем объяснения: Катерина Ивановна самоотверженно хочет принести себя в жертву Дмитрию, быть «средством для его счастья», Иван же, в раздражении от всего этого, желает уехать надолго. Простодушный Алеша высказывает то, что видит: Катерина Ивановна вовсе не любит Дмитрия, а только уверила себя в этом.

Катерина Ивановна передает Алеше двести рублей для штабс-капитана Снегирева, пострадавшего от рук Дмитрия. Снегирев также исповедуется Алеше.

В доме у Хохлаковой, куда вернулся Алеша, он беседует с её дочерью Лизой, болезненной, эмоциональной девочкой, которая написала ему недавно о своей любви. Лизу посещают странные фантазии и желания: например, чтоб на ней женились и потом бросили. Она описывает жестокую сцену мучения ребенка, воображая, что сама сделала это, а потом принимается за ананасный компот. «Бесёнок» – говорит о ней Иван Карамазов.

Алеша направляется в трактир, где находится брат Иван. В трактире происходит встреча двух братьев, речь идет о вечных вопросах. Бог и бессмертие – один из них. Иван приоткрывает свою тайну, отвечая на незаданный, но чрезвычайно интересующий Алешу вопрос: «каково ты веруешь?».

Иван, как и все Карамазовы, любит жизнь во всех ее проявлениях, и он не понимает, зачем в мире так много страданий, как в основании гармонии может быть слезинка ребёнка. Он перечисляет «фактики», свидетельствующие о людской жестокости и детском страдании. Иван – автор поэмы «Великий инквизитор», действие которой происходит в шестнадцатом столетии в Испании, где старый кардинал заточает в тюрьму второй раз сошедшего на землю Христа. Ночью он приходит к Нему для беседы и пытается разочаровать Христа в человечестве, доказывая, что оно недостойно свободы, ведь человеку даже выбор между добром и злом дается тяжело. Великий инквизитор знает, как устроить человеческое счастье: от

свободы нужно человека избавить, сделав его послушным животным. Горстка избранных будут управлять судьбами человечества. Каков будет ответ Христа? Иисус молча целует Великого Инквизитора.

Расставшись с Алешей, Иван отправляется домой и встречает Смердякова, который намекает, что скоро с Федором Павловичем может произойти беда, советует Ивану ехать в деревню Чермашню, где старик продаёт рощу. Наглость Смердякова противна Ивану, однако ехать он решается, правда, в Москву.

Умер старец Зосима. Те, кто ожидал чуда, смущены запахом обыкновенного тления, который появляется вскоре после смерти праведника.

Следующий визит Алеши – в дом к Грушеньке. Та встревоженно ждет какой-то вести. Начав вести себя с Лешей игриво и легкомысленно, вскоре она меняет тон на серьезный, поддавшись обаянию честного и праведного характера Алеши. В ответ на его добрые слова она рассказывает, что томит ей душу. Много лет назад ее соблазнил и бросил один мужчина, которому она страстно хотела отомстить, но потом поняла, что готова как собачонка ползти к нему. От него – от «бывшего» – она и ждет весточки. Получив ее, Грушенька мчит в Мокрое к нему.

И вот Алеша в монастыре, молится возле гроба Зосимы, слушает чтение Евангелия и в полусне ему чудится старец, который хвалит его за Грушеньку. Сердце Алеши наполняется религиозным восторгом. Выйдя из кельи, он бросается на землю, целует её, радуется великолепию звезд. Его сердце преображается.

Дмитрий Карамазов отчаянно ищет деньги, чтобы увезти Грушеньку и начать новую жизнь. Терзаемый ревностью, он пытается найти возлюбленную в доме отца. От его руки пострадал камердинер Федора Павловича Григорий. С руками в крови и одежде, но с шампанским и деньгами мчит он в Мокрое, к возлюбленной.

На постоялом дворе начинается вовсе не новая жизнь, а карточная игра, попойка. Дмитрий предлагает «бывшему» деньги, чтобы тот отступился от Грушеньки.

Вскоре в Мокром появляются представители власти и обвиняют Дмитрия в отцеубийстве. Он поражён – ведь он ударил по голове лишь камердинера Григория, и узню, что тот жив. Но факты – против него.

Вскоре выясняется, что убил Федора Павловича лакей Смердяков, воспользовавшись тем, что камердинер от удара Дмитрии лежит без чувств. Он ударил Федора Павловича пресс-папье и украл три тысячи. Смердяков сам рассказывает обо всем

посетившему его Ивану Карамазову, а главное – о том, что его, Ивана идея вседозволенности и вдохновила его на убийство. Иван потрясен, от чувства вины он сходит с ума. Смердяков, на свидании с Иваном узнает, что тот на предстоящем суде готов сознаться во всем. Смердяков отдает Ивану деньги, а потом вешается.

Катерина Ивановна ещё не решила, как она выступит на суде – вызволительницей или погубительницей своего бывшего жениха Дмитрия. Сам Дмитрий готов пострадать и очиститься. Судебный процесс складывается в пользу Дмитрия. Потрясает всех выступление Ивана Федоровича, который после мучительных колебаний сообщает суду, что убил повесившийся Смердяков, но научил его он, Иван. Он болен и в горячке, его силой уводят, и тут начинает давать показания Катерина Ивановна. Она предъявляет суду документ – полученное накануне преступления письмо Дмитрия, где тот грозится убить отца и взять деньги. Это показание оказывается решающим. Катерина Ивановна губит Дмитрия, чтобы спасти Ивана.

Далее выступают местный прокурор и столичный адвокат Фетюкович. Они анализируют социальные и психологические причины преступления: обстоятельства, атмосфера, среда и отец, который не дал сыновьям ничего кроме равнодушия. Оба заключают, что Дмитрий – убийца, хотя вынудили его к тому обстоятельства. Присяжные признают Дмитрия виновным, Дмитрия осуждают. После суда он также заболевает нервным расстройством.

Финал романа – похороны Илюши Снегирева, сына капитана Снегирева. Алеша Карамазов призывает собравшихся у могилы мальчиков, с которыми подружился, посещая Илюшу во время его болезни, быть добрыми, честными, никогда не забывать друг о друге и не бояться жизни, потому что жизнь прекрасна, когда делается хорошее и правдивое.

Ключевые сцены романа «Братья карамазовы»

III. Братья знакомятся

Находился Иван однако не в отдельной комнате. Это было только место у окна, отгороженное ширмами, но сидевших за ширмами все-таки не могли видеть посторонние. Комната эта была входная, первая, с буфетом у боковой стены. По ней поминутно шмыгали половые. Из посетителей был один лишь старичок отставной военный, и пил в уголку чай. Зато в остальных комнатах трактира происходила вся обыкновенная трактирная возня, слышались призывные крики, откупоривание пивных бутылок, стук биллиардных шаров, гудел орган. Алеша знал, что Иван в этот трактир почти никогда не ходил и до трактиров вообще не охотник; стало быть именно потому только и очутился здесь, подумал он, – чтобы сойтись по условию с братом Дмитрием. И однако брата Дмитрия не было.

– Прикажу я тебе ухи аль чего-нибудь, не чаем же ведь ты одним живешь, – крикнул Иван, повидимому ужасно довольный, что залучил Алешу. Сам он уж кончил обед и пил чай.

– Ухи давай, давай потом и чаю, я проголодался, – весело проговорил Алеша.

– А варенья вишневого? Здесь есть. Помнишь, как ты маленький у Поленова вишневое варенье любил?

– А ты это помнишь? Давай и варенья, я и теперь люблю.

Иван позвонил полового и приказал уху, чай и варенья.

– Я все помню, Алеша, я помню тебя до одиннадцати лет, мне был тогда пятнадцатый год. Пятнадцать и одиннадцать, это такая разница, что братья в эти годы никогда не бывают товарищами. Не знаю, любил ли я тебя даже. Когда я уехал в Москву, то в первые годы я даже и не вспоминал об тебе вовсе.

Потом, когда ты сам попал в Москву, мы раз только, кажется, и встретились где-то. А вот здесь я уже четвертый месяц живу, и до сих пор мы с тобой не сказали слова. Завтра я уезжаю и думал сейчас, здесь сидя: как бы мне его увидать, чтобы проститься, а ты и идешь мимо.

– А ты очень желал меня увидать?

– Очень, я хочу с тобой познакомиться раз навсегда и тебя с собой познакомить. Да с тем и проститься. По-моему всего лучше знакомиться пред разлукой. Я видел, как ты на меня смотрел все

эти три месяца, в глазах твоих было какое-то беспрерывное ожидание, а вот этого-то я и не терплю, оттого и не подошел к тебе. Но в конце я тебя научился уважать: твердо дескать стоит человечек. Заметь, я хоть и смеюсь теперь, но говорю серьезно. Ведь ты твердо стоишь, да? Я таких твердых люблю, на чем бы там они ни стояли, и будь они такие маленькие мальчуганы, как ты. Ожидающий взгляд твой стал мне вовсе под конец не противен; напротив, полюбил я наконец твой ожидающий взгляд… Ты, кажется, почему-то любишь меня, Алеша?

– Люблю, Иван. Брат Дмитрий говорит про тебя: Иван – могила. Я говорю про тебя: Иван – загадка. Ты и теперь для меня загадка, но нечто я уже осмыслил в тебе, и всего только с сегодняшнего утра!

– Что ж это такое? – засмеялся Иван.

– А не рассердишься? – засмеялся и Алеша.

– Ну?

– А то, что ты такой же точно молодой человек, как и все остальные двадцатитрехлетние молодые люди, такой же молодой, молоденький, свежий и славный мальчик, ну желторотый наконец мальчик! Что, не очень тебя обидел?

– Напротив поразил совпадением! – весело и с жаром вскричал Иван. – Веришь ли, что я, после давешнего нашего свидания у ней, только об этом про себя и думал, об этой двадцатитрехлетней моей желторотости, а ты вдруг теперь точно угадал и с этого самого начинаешь. Я сейчас здесь сидел и, знаешь, что говорил себе: не веруй я в жизнь, разуверься я в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что все напротив беспорядочный, проклятый и может быть бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования, – а я все-таки захочу жить и уж как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю!

Впрочем к тридцати годам наверно брошу кубок, хоть и не допью всего и отойду… не знаю куда. Но до тридцати моих лет, знаю это твердо, все победит моя молодость, – всякое разочарование, всякое отвращение к жизни. Я спрашивал себя много раз: есть ли в мире такое отчаяние, чтобы победило во мне эту исступленную и неприличную может быть жажду жизни, и решил, что, кажется, нет такого, то-есть опять-таки до тридцати этих лет, а там уж сам не захочу, мне так кажется. Эту жажду жизни иные чахоточные сопляки-моралисты называют часто подлою, особенно поэты. Черта-то она отчасти Карамазовская, это правда, жажда-то эта жизни, несмотря ни на что, в тебе она тоже непременно сидит, но почему ж она подлая? Центростремительной силы еще страшно много на нашей

планете, Алешка. Жить хочется, и я живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь ли, не знаешь за что и любишь, дорос иной подвиг человеческий, в который давно уже может быть перестал и верить, а все-таки по старой памяти чтишь его сердцем. Вот тебе уху принесли, кушай на здоровье. Уха славная, хорошо готовят. Я хочу в Европу съездить, Алеша, отсюда и поеду; и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что! Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, – в то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище и никак не более. И не от отчаяния буду плакать, а лишь просто потому, что буду счастлив пролитыми слезами моими. Собственным умилением упьюсь. Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что! Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь, первые свои молодые силы любишь… Понимаешь ты что-нибудь в моей ахинее, Алешка, аль нет? – засмеялся вдруг Иван.

– Слишком понимаю, Иван: нутром и чревом хочется любить, – прекрасно ты это сказал, и рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется, – воскликнул Алеша. – Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить.

– Жизнь полюбить больше, чем смысл ее?

– Непременно так, полюбить прежде логики, как ты говоришь. непременно, чтобы прежде логики, и тогда только я и смысл пойму. Вот что мне давно уже мерещится. Половина твоего дела сделана, Иван, и приобретена: ты жить любишь. Теперь надо постараться тебе о второй твоей половине, и ты спасен.

– Уж ты и спасаешь, да я и не погибал может быть! А в чем она вторая твоя половина?

– В том, что надо воскресить твоих мертвецов, которые может быть никогда и не умирали. Ну давай чаю. Я рад, что мы говорим, Иван.

– Ты, я вижу, в каком-то вдохновении. Ужасно я люблю такие professions de foi вот от таких… послушников. Твердый ты человек, Алексей. Правда, что ты из монастыря хочешь выйти?

– Правда. Мой старец меня в мир посылает.

– Увидимся еще стало быть в миру-то, встретимся до тридцати-то лет, когда я от кубка-то начну отрываться. Отец вот не хочет отрываться от своего кубка до семидесяти лет, до

восьмидесяти даже мечтает, сам говорил, у него это слишком серьезно, хоть он и шут. Стал на сладострастии своем и тоже будто на камне… хотя после тридцати-то лет, правда, и не на чем пожалуй стать, кроме как на этом… Но до семидесяти подло, лучше до тридцати: можно сохранить «оттенок благородства», себя надувая. Не видал сегодня Дмитрия?

– Нет, не видал, но я Смердякова видел. – И Алеша рассказал брату наскоро и подробно о своей встрече с Смердяковым. Иван стал вдруг очень озабоченно слушать, кое-что даже переспросил.

– Только он просил меня брату Дмитрию не сказывать о том, что он о нем говорил, – прибавил Алеша. Иван нахмурился и задумался.

– Ты это из-за Смердякова нахмурился? – спросил Алеша.

– Да, из-за него. К чорту его, Дмитрия я действительно хотел было видеть, но теперь не надо… – неохотно проговорил Иван.

– А ты в самом деле так скоро уезжаешь, брат?

– Да.

– Что же Дмитрий и отец? Чем это у них кончится? – тревожно промолвил Алеша.

– А ты все свою канитель! Да я-то тут что? Сторож я что ли моему брату Дмитрию? – раздражительно отрезал было Иван, но вдруг как-то горько улыбнулся – Каинов ответ богу об убитом брате, а? Может быть ты это думаешь в эту минуту? Но чорт возьми, не могу же я в самом деле оставаться тут у них сторожем? Дела кончил, и еду. Уж не думаешь ли ты, что я ревную к Дмитрию, что я отбивал у него все эти три месяца его красавицу Катерину Ивановну. Э, чорт, у меня свои дела были. Дела кончил и еду. Дела давеча кончил, ты был свидетелем.

– Это давеча у Катерины Ивановны?

– Да, у ней, и разом развязался. И что ж такое? Какое мне дело до Дмитрия? Дмитрий тут не при чем. У меня были только собственные дела с Катериною Ивановною. Сам ты знаешь напротив, что Дмитрий вел себя так как будто был в заговоре со мной. Я ведь не просил его нисколько, а он сам мне торжественно ее передал и благословил. Это все смеху подобно. Нет, Алеша, нет, если бы ты знал, как я себя теперь легко чувствую! Я вот здесь сидел и обедал, и веришь ли, хотел было спросить шампанского, чтоб отпраздновать первый мой час свободы. Тьфу, полгода почти, – и вдруг разом, все разом снял. Ну подозревал ли я даже вчера, что это, если захотеть, то ничего не стоит кончить!

– Ты про любовь свою говоришь, Иван?

– Любовь, если хочешь, да, я влюбился в барышню, в институтку. Мучился с ней, и она меня мучила. Сидел над ней… и вдруг все слетело. Давеча я говорил вдохновенно, а вышел и

расхохотался, – веришь этому. Нет, я буквально говорю.

– Ты и теперь так это весело говоришь, – заметил Алеша, вглядываясь в его в самом деле повеселевшее вдруг лицо.

– Да почем же я знал, что я ее вовсе не люблю! Хе-хе! Вот и оказалось, что нет. А ведь как она мне нравилась! Как она мне даже давеча нравилась, когда я речь читал. И знаешь ли, и теперь нравится ужасно, – а между тем, как легко от нее уехать. Ты думаешь, я фанфароню?

– Нет. Только это может быть не любовь была.

– Алешка, – засмеялся Иван, – не пускайся в рассуждения о любви! Тебе неприлично. Давеча-то, давеча-то ты выскочил, ай! Я еще и забыл поцеловать тебя за это… А мучила-то она меня как! Воистину у надрыва сидел. Ох, она знала, что я ее люблю! Любила меня, а не Дмитрия, – весело настаивал Иван. – Дмитрий только надрыв. Все, что я давеча ей говорил, истинная правда. Но только в том дело, самое главное, что ей нужно может быть лет пятнадцать аль двадцать, чтобы догадаться, что Дмитрия она вовсе не любит, а любит только меня, которого мучает. Да пожалуй и не догадается она никогда, несмотря даже на сегодняшний урок. Ну и лучше: встал да и ушел навеки. Кстати, что она теперь? Что там было, когда я ушел?

Алеша рассказал ему об истерике, и о том, что она, кажется, теперь в беспамятстве и в бреду.

– А не врет Хохлакова?

– Кажется, нет.

– Надо справиться. От истерики впрочем никогда и никто не умирал. Да и пусть истерика, бог женщине послал истерику любя. Не пойду я туда вовсе. К чему лезть опять.

– Ты однако же давеча ей сказал, что она никогда тебя не любила.

– Это я нарочно. Алешка, прикажу-ка я шампанского, выпьем за мою свободу. Нет, если бы ты знал, как я рад!

– Нет, брат, не будем лучше пить, – сказал вдруг Алеша, – к тому же мне как-то грустно.

– Да, тебе давно грустно, я это давно вижу.

– Так ты непременно завтра утром поедешь?

– Утром? я не говорил, что утром… А впрочем может и утром. Веришь ли, я ведь здесь обедал сегодня единственно, чтобы не обедать со стариком, до того он мне стал противен. Я от него от одного давно бы уехал. А ты что так беспокоишься, что я уезжаю. У нас с тобой еще бог знает сколько времени до отъезда. Целая вечность времени, бессмертие!

– Если ты завтра уезжаешь, какая же вечность?

– Да нас-то с тобой чем это касается? – засмеялся Иван, – ведь

свое-то мы успеем все-таки переговорить, свое-то, для чего мы пришли сюда? Чего ты глядишь с удивлением? Отвечай: мы для чего здесь сошлись? Чтобы говорить о любви к Катерине Ивановне, о старике и Дмитрие? О заграницe? О роковом положении России? Об императоре Наполеоне? Так ли, для этого ли?

– Нет, не для этого.

– Сам понимаешь, значит, для чего. Другим одно, а нам, желторотым, другое, нам прежде всего надо предвечные вопросы разрешить, вот наша забота.

Вся молодая Россия только лишь о вековечных вопросах теперь и толкует.

Именно теперь, как старики все полезли вдруг практическими вопросами заниматься. Ты из-за чего все три месяца глядел на меня в ожидании? Чтобы допросить меня: «како веруеши, али вовсе не веруеши», – вот ведь к чему сводились ваши трехмесячные взгляды, Алексей Федорович, ведь так?

– Пожалуй что и так, – улыбнулся Алеша. – Ты ведь не смеешься теперь надо мною, брат?

– Я-то смеюсь? Не захочу я огорчить моего братишку, который три месяца глядел на меня в таком ожидании. Алеша, взгляни прямо: я ведь и сам точь-в-точь такой же маленький мальчик, как и ты, разве только вот не послушник. Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? Иные то-есть? Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира, сорок лет опять не будут знать друг друга, ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах, не иначе: есть ли бог, есть ли бессмертие? А которые в бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же чорт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца. И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время. Разве не так?

– Да, настоящим русские вопросы о том: есть ли бог и есть ли бессмертие, или, как вот ты говоришь, вопросы с другого конца, конечно первые вопросы и прежде всего, да так и надо, – проговорил Алеша, все с тою же тихою и испытующею улыбкой вглядываясь в брата.

– Вот что, Алеша, быть русским человеком иногда вовсе не умно, но все-таки глупее того, чем теперь занимаются русские мальчики, и представить нельзя себе. Но я одного русского мальчика, Алешку, ужасно люблю.

– Как ты это славно подвел, – засмеялся вдруг Алеша.

– Ну говори же, с чего начинать, приказывай сам, – с бога? Существует ли бог, что ли?

– С чего хочешь, с того и начинай, хоть с «другого конца». Ведь ты вчера у отца провозгласил, что нет бога, – пытливо поглядел на брата Алеша.

– Я вчера за обедом у старика тебя этим нарочно дразнил и видел, как у тебя разгорались глазки. Но теперь я вовсе не прочь с тобой переговорить и говорю это очень серьезно. Я с тобой хочу сойтись. Алеша, потому что у меня нет друзей, попробовать хочу. Ну, представь же себе, может быть и я принимаю бога, – засмеялся Иван, – для тебя это неожиданно, а?

– Да конечно, если ты только и теперь не шутишь.

– Шутишь. Это вчера у старца сказали, что я шучу. Видишь, голубчик, был один старый грешник в восемнадцатом столетии, который изрек, что если бы не было бога, то следовало бы его выдумать, s'il n'existait pas Dieu il faudrait l'inventer. И действительно человек выдумал бога. И не то странно, не то было бы дивно, что бог в самом деле существует, но то дивно, что такая мысль – мысль о необходимости бога – могла залезть в голову такому дикому и злому животному каков человек, до того она свята, до того она трогательна, до того премудра и до того она делает честь человеку. Что же до меня, то я давно уже положил не думать о том: человек ли создал бога или бог человека?

Не стану я, разумеется, тоже перебирать на этот счет все современные аксиомы русских мальчиков, все сплошь выведенные из европейских гипотез; потому что, что там гипотеза, то у русского мальчика тотчас же аксиома и не только у мальчиков, но пожалуй и у ихних профессоров, потому что и профессора русские весьма часто у нас теперь те же русские мальчики. А потому обхожу все гипотезы. Ведь у нас с тобой какая теперь задача? Задача в том, чтоб я как можно скорее мог объяснить тебе мою суть, то-есть что я за человек, во что верую и на что надеюсь, ведь так, так? А потому и объявляю, что принимаю бога прямо и просто. Но вот однако что надо отметить: если бог есть и если он действительно создал землю, то, как нам совершенно известно, создал он ее по эвклидовой геометрии, а ум человеческий с понятием лишь о трех измерениях пространства. Между тем находились и находятся даже и теперь геометры и философы и даже из замечательнейших, которые сомневаются в том, чтобы вся вселенная, или еще обширнее, – все бытие было создано лишь по эвклидовой геометрии, осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые по Эвклиду ни за что не могут сойтись на земле, может быть, и сошлись бы где-нибудь в

бесконечности. Я, голубчик, решил так, что если я даже этого не могу понять, то где ж мне про бога понять. Я смиренно сознаюсь, что у меня нет никаких способностей разрешать такие вопросы, у меня ум эвклидовский, земной, а потому где нам решать о том, что не от мира сего. Да и тебе советую об этом никогда не думать, друг Алеша, а пуще всего насчет бога: есть ли он или нет? Все это вопросы совершенно несвойственные уму, созданному с понятием лишь о трех измерениях. Итак, принимаю бога и не только с охотой, но, мало того, принимаю и премудрость его, и цель его, – нам совершенно уж неизвестные, верую в порядок, в смысл жизни, верую в вечную гармонию, в которой мы будто бы все сольемся, верую в слово, к которому стремится вселенная и которое само «бе к богу» и которое есть само бог, ну и прочее и прочее, и т. д. в бесконечность. Слов-то много на этот счет наделано. Кажется, уж я на хорошей дороге – а? Ну так представь же себе, что в окончательном результате я мира этого божьего – не принимаю, и хоть и знаю, что он существует, да не допускаю его вовсе. Я не бога не принимаю, пойми ты это, я мира, им созданного, мира-то божьего не принимаю и не могу согласиться принять. Оговорюсь: я убежден как младенец, что страдания заживут и сгладятся, что весь обидный комизм человеческих противоречий исчезнет как жалкий мираж, как гнусненькое измышление малосильного и маленького как атом человеческого эвклидовского ума, что наконец в мировом финале, в момент вечной гармонии, случится и явится нечто до того драгоценное, что хватит его на все сердца, на утоление всех негодований, на искупление всех злодейств людей, всей пролитой ими их крови, хватит, чтобы не только было возможно простить, но и оправдать все, что случилось с людьми, – пусть, пусть это все будет и явится, но я-то этого не принимаю и не хочу принять! Пусть даже параллельные линии сойдутся и я это сам увижу: увижу и скажу, что сошлись, а все-таки не приму. Вот моя суть, Алеша, вот мой тезис. Это уж я серьезно тебе высказал. Я нарочно начал этот наш с тобой разговор как глупее нельзя начать, но довел до моей исповеди, потому что ее только тебе и надо. Не о боге тебе нужно было, а лишь нужно было узнать, чем живет твой любимый тобою брат. Я и сказал.

Иван заключил свою длинную тираду вдруг с каким-то особенным и неожиданным чувством.

– А для чего ты начал так, как «глупее нельзя начать»? – спросил Алеша, задумчиво смотря на него.

– Да во-первых, хоть для руссизма: русские разговоры на эти темы все ведутся как глупее нельзя вести. А во-вторых, опять-таки чем глупее, тем ближе к делу. Чем глупее, тем и яснее. Глупость

коротка и не хитра, а ум виляет и прячется. Ум подлец, а глупость пряма и честна. Я довел дело до моего отчаяния, и чем глупее я его выставил, тем для меня же выгоднее.

– Ты мне объяснишь, для чего «мира не принимаешь»? – проговорил Алеша.

– Уж конечно объясню, не секрет, к тому и вел. Братишка ты мой, не тебя я хочу развратить и сдвинуть с твоего устоя, я может быть себя хотел бы исцелить тобою, – улыбнулся вдруг Иван совсем как маленький кроткий мальчик.

Никогда еще Алеша не видал у него такой улыбки.

notes

Сноски

1

Да здравствует вековечная война (франц.)